

36

5121

Golicev



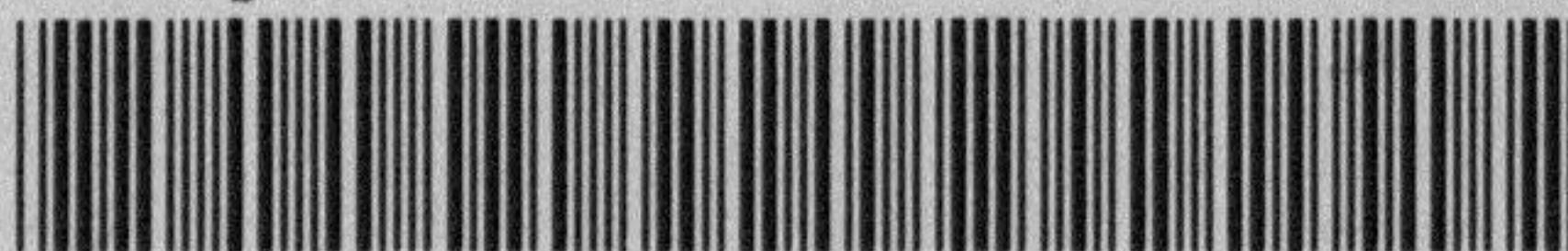
Gol'cev

36  

---

5121

**Bayerische Staatsbibliothek**



**<36645709710016**



36  
5121

Goltsen.

В. А. Гольцевъ.

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ.

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ

ЖУРНАЛА

„Русская Мысль“.



МОСКВА.

Типо-лит. Выс. утв. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К<sup>о</sup>,

Пименовская ул., собственный домъ.

1895.



34 А







В. А. Гольцевъ.

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ.

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ

ЖУРНАЛА

„Русская Мысль“.



МОСКВА.

Типо-лит. Выс. утв. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К<sup>о</sup>.,

Пименовская ул., собственный домъ.

1895.



Г. н. 5176





Bayerische  
Staatsbibliothek  
München



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

|                                                                                   | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Разночинецъ и дворянская культура . . . . .                                       | 1    |
| А. П. Чеховъ (Опытъ литературной характеристики). . . . .                         | 19   |
| Д. И. Писаревъ . . . . .                                                          | 46   |
| О письмахъ В. Г. Бѣлинскаго къ Бакунинымъ . . . . .                               | 72   |
| Памяти Некрасова (По поводу пятнадцатилѣтія его кончины). . . . .                 | 82   |
| Въ поискахъ идеала . . . . .                                                      | 92   |
| Нѣсколько замѣчаній о натурализмѣ въ искусствѣ . . . . .                          | 104  |
| О пессимизмѣ въ современной литературѣ . . . . .                                  | 117  |
| Объ идеяхъ и поколѣніяхъ . . . . .                                                | 127  |
| Литература и жизнь . . . . .                                                      | 142  |
| Объ одномъ изъ старыхъ славянофиловъ . . . . .                                    | 174  |
| Объ основныхъ идеяхъ нашего вѣка (Маленькая замѣтка о великомъ вопросѣ) . . . . . | 188  |

---



# ОТЧЕТ

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 1   | Введение                                |
| 12  | А. В. Петров (Опыт)                     |
| 40  | Д. Н. Иванов                            |
| 72  | О работе В. П. Петрова                  |
| 82  | Павел Петров (По поводу)                |
| 83  | В. Петров                               |
| 104 | Несколько замечаний к работе В. Петрова |
| 117 | О работе В. Петрова                     |
| 127 | В. Петров                               |
| 142 | Иванов                                  |
| 174 | О работе В. Петрова                     |
| 188 | О работе В. Петрова                     |





## Разночинецъ и дворянская культура.

Въ произведеніяхъ величайшихъ изъ нашихъ художниковъ слова, начиная съ Пушкина и Грибоѣдова, на первомъ мѣстѣ долгое время стояли «дворяне». Лица изъ другихъ сословій толпились на второмъ планѣ. Если они выступали ярко впередъ—это было рѣдкимъ исключеніемъ. Всѣ мы знаемъ, что образы, которые преобладаютъ въ нашей литературѣ, принадлежатъ, главнымъ образомъ, къ типамъ отрицательнымъ. Фамусовы, Скалозубы, Чичиковы и Ноздревы свидѣлствуютъ о томъ, что дворяне-писатели не нарушали правды въ своихъ произведеніяхъ, не щадили предразсудковъ и не отступали передъ горькими упреками современному обществу,—упреками, которые съ такою сосредоточенною силой формулировалъ Лермонтовъ:

Къ добру и злу постыдно равнодушны,

Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы...

У Тургенева и Гончарова мы видимъ симпатичныхъ людей, умныхъ и добрыхъ, проникнутыхъ честными идеями, которымъ однако были суждены лишь благіе порывы. Всѣ эти образы видоизмѣняются потомъ въ большей или меньшей степени, но центральною фигу-



рой среди нихъ остается *человѣкъ сороковыхъ годовъ*. Въ немъ, мнѣ кажется, вполне выразились какъ достоинства, такъ и недостатки дворянской, крѣпостнической культуры, и когда говорятъ о *дворянствѣ* въ противоположность *разночинцу*, — надо брать именно *людей сороковыхъ годовъ* и сравнивать ихъ съ людьми, которые выступили на сцену послѣ отмѣны крѣпостного права.

Если Тургеневъ и Гончаровъ изображали знаменитую эпоху сороковыхъ годовъ и ея дѣятелей тонко и нѣжно, если у нихъ мы видимъ сочувствіе къ этимъ дѣятелямъ, то иное освѣщеніе и иной тонъ найдемъ мы у Писемскаго въ его *Людяхъ сороковыхъ годовъ*. Писемскій безпощадно срываетъ поэтическую дымку, окружавшую этихъ людей, глубоко заглядываетъ въ ихъ душу и находитъ тамъ низменные и пошлыя побужденія, такъ что *его* люди сороковыхъ годовъ являются въ нѣкоторомъ отношеніи антиподами Рудиныхъ, Лаврецкихъ, Райскихъ. Съ такою же правдивостью и силою анализа, но и съ такою же рѣзкою односторонностью Писемскій въ послѣдствіи изобразить намъ въ «Взбаламученномъ морѣ» движеніе шестидесятыхъ годовъ.

Но вотъ заколебались и рухнули основы крѣпостнической Россіи, въ жизнь и въ литературу пришелъ *разночинецъ*. Конечно, существовалъ онъ давно, но лишь теперь разночинная толпа свободно хлынула на сцену, и въ ней затерялась небольшая, сравнительно говоря, группа носителей дворянской культуры. Эта культура живетъ однако до нашихъ дней; до сихъ поръ литература отмѣчаетъ людей, въ которыхъ видны явные слѣды «сороковыхъ годовъ», да и разночи-



нецъ ведетъ еще борьбу съ недавнимъ главнымъ героемъ нашей культуры. Интересенъ поэтому вопросъ, присутствуемъ ли мы только при *переживаніи*, исчезнутъ ли всѣ особенности *дворянскаго просвѣщенія* и желательно ли такое исчезновеніе? А новый герой, разночинецъ, — побѣдитель, — несетъ ли онъ съ собою только свѣтлое, только высшее по сравненію съ тѣмъ, чѣмъ живы были Чацкіе и Лермонтовы, Лаврецкіе и Тургеневы?

Разночинецъ-Басистовъ говоритъ про вліяніе Рудина: «Клянусь вамъ, этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, — онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!» Вотъ свидѣтельство художника, а вотъ характерный фактъ изъ дѣйствительной жизни.

Въ 1855 году скончался одинъ изъ знаменитѣйшихъ людей сороковыхъ годовъ, имя котораго до сихъ поръ вспоминается съ благоговѣніемъ студентами московскаго университета, Тимоѣей Николаевичъ Грановскій, — и вотъ въ какихъ выраженіяхъ посвящаетъ его памяти свой первый научный трудъ Б. Н. Чичеринъ: «Не изсякнетъ любовь къ мысли и рвеніе къ труду въ томъ, кто живо запечатлѣлъ въ себѣ образъ благороднаго наставника, во всей его поэтической прелести, во всей его нравственной красотѣ. Голосъ его какъ будто бы еще сильнѣе слышится изъ-за гроба, призывая воспитанныя имъ поколѣнія къ святому дѣлу, которому онъ посвятилъ свою жизнь, — къ служенію истинѣ и наукѣ, къ подвигамъ на пользу просвѣщенія».

Въ Грановскомъ мы видимъ идеальнаго человѣка



сороковыхъ годовъ, горячее слово котораго было величайшимъ для своего времени *дѣломъ*. Рудиныхъ, Райскихъ, — болѣе или менѣе даровитыхъ, — было не мало. Это — типъ, и типъ распространенный, а не случайный образъ, — и мы указали, какое благодатное вліяніе имѣло слово этого Рудина. Отъ Фонъ-Визина, Новикова и Радищева, вплоть до паденія крѣпостного права, развивалась у насъ дворянская культура, на знамени представителей которой было написано прежде всего именно уничтоженіе крѣпостного права. А рядомъ съ этимъ теченіемъ другіе „представители“ этой культуры жили, какъ Маниловы или Ноздревы, какъ щедринскіе *Господа Головлевы*, творя ужасы и насилія, развращая среду и развращаясь ея вліяніемъ...

Необходимо поэтому различать двѣ стороны вопроса: какія идеи и стремленія оставили намъ люди сороковыхъ годовъ, какія особенности характера и склада мыслей вырабатывала дворянская культура? Само собою разумѣется, что точный и подробный отвѣтъ на эти вопросы можно дать не въ короткой замѣткѣ, а въ обширномъ изслѣдованіи. Однако главную часть задачи, думается мнѣ, возможно разрѣшить и въ немногихъ словахъ.

Крѣпостное право развращало общество и народъ. Оно не оставалось безъ вреднаго вліянія даже на лучшихъ изъ людей сороковыхъ годовъ. Оно расшатывало волю или укрѣпляло самодурство, оно не воспитывало уваженія къ труду и привычки къ планомѣрной работѣ. Когда отдѣльная личность выростала надъ окружающими условіями по уму и образованію, — ее глушила провинціальная спячка или пошлая суэта сто-



личной жизни. Но лучше люди сороковых годов шли рука объ руку съ такими разночинцами, какъ Бѣлинскій; они жадно впитывали въ себя европейскую мысль, научное знаніе, увлекались великими поэтами Европы и вносили въ нашу стѣсненную, вялую и безцвѣтную общественную жизнь гуманныя идеи, подготовившія великія реформы начала царствованія императора Александра II. Утонченные нервы, крайняя эстетическая впечатлительность и воспитанная по-неволѣ привычка уноситься въ отвлеченія дѣлали нерѣдко людей сороковых годов плохими бойцами при встрѣчѣ съ суровою дѣйствительностью, въ которой они не могли признать никакой разумности. И надъ практической неумѣлостью, надъ разладомъ между мыслью и характеромъ у этихъ людей раздавалось не мало язвительныхъ насмѣшекъ и не мало справедливыхъ упрековъ. По ядовитому замѣчанію Чернышевскаго, такіе люди начинали, какъ Пикколомини, а кончали, какъ какой-нибудь Захаръ Сидорычъ, играющій въ кофѣчный преферансъ. Но Чернышевскій же указалъ, *отчего* происходили такія печальныя явленія, *почему* людямъ сороковых годов суждены были только благіе порывы, а свершить ничего не дано. «Если изъ круга моихъ наблюденій,—говоритъ онъ,—изъ сферы дѣйствій, въ которой вращаюсь я, исключены идеи и побужденія, имѣющія предметомъ общую пользу, т. е. исключены гражданскіе мотивы, что остается наблюдать мнѣ? въ чемъ остается участвовать мнѣ? Остается хлопотливая сумятица отдѣльных личностей съ личными узенькими заботами о своемъ карманѣ, о своемъ брюшкѣ или о своихъ забавахъ».



Въ условіяхъ русской жизни, предшествовавшихъ паденію крѣпостного права, европейская (она же по преимуществу у насъ дворянская) культура не могла не извращаться, но въ ней же была сила, будившая дремавшее національное самосознаніе. Измѣнились въ значительной степени эти условія, пробудилась русская общественная мысль,—и что же случилось съ людьми, которые являются прямыми наслѣдниками Рудиныхъ и Райскихъ?

Обратимся къ одному изъ новѣйшихъ нашихъ романовъ, къ «Смѣнѣ» А. И. Эртеля. Авторъ задался цѣлью,—какъ указываетъ самое названіе его произведенія,—изобразить смѣну дворянской культуры культурою разночинною. Типичнѣйшимъ представителемъ первой является у г. Эртеля—Андрей Петровичъ Мансуровъ. Мы сразу находимъ у него давно знакомыя черты.

«Для меня,—пишетъ Мансуровъ сестрѣ,—весь міръ представляется иногда въ видѣ похоронной процессіи, и это все равно, озаряетъ ли его вешнее солнце, обвѣваютъ ли осеннія вьюги... Отчего, я не знаю, но скажу вмѣстѣ съ Сакья-Муни: разумно дитя, что плачетъ рождаясь... Тебѣ странно слушать это? О, я знаю, что странно. Ты—иного поколѣнія, иной вѣры. Ты—старшая изъ насъ... Но, прости: мнѣ, младшему, по справедливости иногда кажется, что мы, скудные годами, слишкомъ богаты опытомъ и тою экклезіастическою мудростью, въ которой такъ много печали»...

Но пессимистическій налетъ, который смѣнилъ у Мансурова гегелевскую философію его предшественниковъ, не исключаетъ и бодрыхъ нотъ въ душѣ



Андрея Петровича. Въ томъ же письмѣ онъ восклицаетъ, что есть еще порохъ въ пороховницахъ, не пропала казацкая сила, не вѣрится онъ, что *благородно-рожденнымъ* предстоитъ *смына*. Чтобъ *верховодить*, — говоритъ Мансуровъ, — «надо имѣть талантъ, имѣть нервы, надо пріобрѣсти вкусъ къ общечеловѣческому, къ вѣчному, къ мистическому. Нужно, чтобы струны-то, струны-то звенѣли на весь міръ, а не то, чтобъ играть себѣ подъ носъ на хозяйственные темы». Словами Тургенева только что пообѣщавши бодро *повоевать*, Мансуровъ сейчасъ же прибавляетъ: «А впрочемъ... Порою мнѣ кажется, что мы *ни въ тѣхъ, ни въ стѣхъ*, да и не все ли равно?»

Потребность каяться, подвергать придирчивому разбору всѣ движенія собственной души — также знакомая намъ черта у людей подобнаго типа. Но у Мансурова всего сильнѣе потребность любви, женской любви. Его чувство въ Людмилѣ Михайловнѣ, позорно измѣнившей ему, — чувство глубокое и нѣжное. «Лишь къ ней моя любовь, — говоритъ Андрей Петровичъ Алферову, — крѣпче смерти». И это не фраза: Мансуровъ сначала чуть не умеръ отъ нервной горячки, когда Людмила Михайловна убѣждала съ Роговымъ, а потомъ до конца жизни не могъ побѣдить этого больного чувства. Любовь къ женщинѣ играла, какъ извѣстно, большую роль въ жизни людей сороковыхъ годовъ, въ особенности у тургеневскихъ героев, — и, конечно, причину этого надо искать въ томъ, что нервныя, односторонне воспитанные люди эти были замкнуты въ узкую область личной только жизни, ихъ натурѣ негдѣ было развернуться въ обществен-



номъ смыслѣ слова. У Лаврецкаго любовь была нѣжна и глубока, у Райскаго далеко не такъ серьезна; у позднѣйшей разновидности человѣка сороковыхъ годовъ, у Мансурова, эта любовь сильна и трогательна въ высшей степени.

«Талантливый паренекъ, — говоритъ про Мансурова Ѳедоръ Евдокимовичъ. — И, пожалуй, взять его въ руки, — сыгралъ бы роль... Или нѣтъ? Гм!.. и дѣла его всѣ нечаянныя, и смерть нечаянная; ну, точно схематическое изображеніе дворянской участи».

Этими словами одного изъ своихъ излюбленныхъ разночинцевъ авторъ приподнимаетъ покровъ съ своего замысла: Мансуровъ *долженъ былъ* погибнуть случайно, какъ случайно Рудинъ погибъ въ чужой странѣ на покину уже баррикадѣ. Это — схематическое изображеніе дворянской участи. Такъ ли это? Намъ думается, что *схема* не покрыла жизни, что для Мансурова могъ быть и разумный выходъ, экклезіастъ и Людмила Михайловна не убили въ немъ жизнедѣтельности. А. И. Эртель говоритъ намъ, что для Мансурова не нашлось за-границей какого-нибудь *красиваго и іромкаго дѣла*, подобнаго, напримѣръ, дѣлу Гарибальди, которымъ увлекались отецъ и мать Мансурова. Авторъ спѣшитъ прибавить, что Андрей Петровичъ ухватился бы за него. «О, конечно, — договариваетъ А. И. Эртель, — не съ тою вѣрою и не съ тѣмъ энтузіазмомъ, но все же со всею силою вновь пріобрѣтеннаго здоровья и новой своей бодрости».

Встрѣча съ Еленой Евдокимовной и разговоръ съ нею о земствѣ вызываютъ въ Мансуровѣ совсѣмъ не шуточное рѣшеніе отдаться земской дѣятельности.



Рѣшеніе окрѣпло и даже было взято не безъ вліянія красивой и умной дѣвушки, съ безподобною простотою движеній, словъ, мыслей, съ какою-то веселою ясностью; но какая же въ этомъ бѣда? Если Людмила Михайловна чуть не погубила Мансурова, то Елена Евдокимовна могла его спасти, въ общественномъ и личномъ смыслѣ. Мужская гордость можетъ возмущаться такимъ рѣшеніемъ, а намъ жизнерадостность Аленушки представляется большею мудростью, чѣмъ печальные перепѣвы Сакья-Муни. «Сказалъ ли кто, — думалъ про себя Мансуровъ, возвращаясь въ Княжія Липы, — о женской красотѣ, что она пріобрѣтаетъ особенную силу, когда женщина стоитъ выше интересовъ семьи, очага и алькова? Вотъ въ чемъ сила нашихъ Аленушекъ... а въ Испаніи — грація, колоритъ, блескъ и, въ концѣ концовъ, красивое животное. Нѣтъ, нѣтъ, все-таки отлично, что я, наконецъ, дома... Повоюемъ!» И напрасно г. Эртель не далъ повоевать Мансурову: *схема* пострадала бы, а романъ и правда выиграли бы.

Отмѣтимъ любопытный фактъ: разночинка Елена Евдокимовна, — образованная и выдающаяся дѣвушка, — любитъ Мансурова; въ романѣ П. Д. Боборыкина — Василій Теркинъ, разночинецъ, успокоивается на свѣтломъ чувствѣ къ дочери захудалаго дворянина. Елизавета Петровна Мансурова увлекается подвижничествомъ и бреднями бывшего крѣпостного Алеши. Она снисходительно улыбается надъ разсужденіями брата о *смѣнѣ*: «Не смѣна совершилась, но сліяніе, и это давно извѣстно. Еще въ семидесятыхъ годахъ, еще раньше смѣшались въ общемъ теченіи разночинцы и дворяне... Какъ будто, — продолжаетъ Елизавета Пет-



ровна, — существуетъ особая психологія для тѣхъ и другихъ!»

Особой психологіи, разумѣется, нѣтъ, но разныя стороны душевной жизни у разночинца и у дворянина получали разное развитіе. Иванъ Антонычъ Алферовъ признаетъ, что Мансуровъ былъ бы отличнымъ лидеромъ, блестящимъ и полезнымъ земцемъ, но къ черновой работѣ онъ не способенъ. Въ знаніи фактовъ, — говоритъ намъ г. Эртель, — Мансуровъ почувствовалъ явный перевѣсъ на сторонѣ тѣхъ молодыхъ разночинцевъ, которыхъ онъ встрѣтилъ въ Петербургѣ у Алферова. Признавая захватывающую и трезвую силу этихъ юныхъ и отважныхъ людей, Мансуровъ мечталъ присоединить къ ней силу обобщенія, культуру, широкую и разностороннюю образованность. Въ другой разъ Андрей Петровичъ, вспоминая проведенный у Алферова вечеръ, такъ говоритъ о впечатлѣніи отъ встрѣченной тамъ молодежи: «Это было все равно, какъ если бы Мансуровъ вышелъ изъ богатой оранжереи въ поле, раннею весной. Въ оранжереѣ — напоенный ароматами воздухъ, и жарко, и бьютъ фонтаны, и тропическіе цвѣты простираютъ причудливые свои листья и, можетъ быть, горятъ электрическія лампы, какъ у одного богача на Сергіевской; а въ полѣ — пасмурный день, запахъ разрытой земли, оглушительный крикъ грачей въ ближней ветловой рошѣ, и бурлятъ мутные потоки, и развертываются однообразныя дали. Неблагозвучно, неблагоприятно, некрасиво, но какимъ свѣжимъ и волнующимъ чувствомъ расширяется грудь, и до чего противно возвращаться въ богатую оранжерею!»



Конечно, въ данномъ случаѣ Андрею Петровичу Мансурову подсказалъ немножко, въ сторону своихъ симпатій, А. И. Эртель. Не долюбивая столицу и рекомендуя читателю своего разночинца, авторъ не прочь подчеркнуть, что провинція думаетъ по-своему, что въ ней больше живыхъ силъ, чѣмъ у пресыщенныхъ столичныхъ жителей. Въ этомъ есть значительная доля правды; не надо только забывать, что въ провинціи кромѣ этихъ благотворныхъ силъ развертываются и другія, на-ряду съ Алферовыми и Аленушками растутъ Колупаевы и Разуваевы, — разночинцы чистѣйшей воды. Не мѣшаетъ помнить и то, что въ большинствѣ градовъ и весей нашего обширнаго отечества Бѣлинскимъ и Грановскимъ нечего было бы даже и теперь дѣлать. Они, вѣдь, тоже *лидеры*, хотя не Мансуровымъ чета, никогда не уставали отъ труда и не боялись труда такъ называемаго чернаго. Некрасовскій Миша, изъ «Медвѣжей охоты», вспоминаетъ, что Бѣлинскій говаривалъ:

— «Чернорабочій я—не бѣлоручка!»

Легко понять, сколько труда клалъ, напримѣръ, Грановскій въ свои лекціи или Герценъ въ свои сочиненія.

Конечно, провинція сильно выросла со времени отмены крѣпостного права, послѣ судебной, земской и городской реформъ императора Александра II. И сомнѣнія нѣтъ въ томъ, что въ новомъ общественномъ движеніи все большую и большую роль играетъ образованный разночинецъ. Иначе и быть не могло: образованіе демократизируетъ общество, да и дворянъ-то у насъ считается тысячъ шестьсотъ на стомилліонное



«разночинное» населеніе. Но изъ среды этого населенія выходятъ не одни писатели, учителя, врачи, просвѣщенные земскіе дѣятели, или такіе дѣльцы, какъ много занимавшій критику и общество Василій Теркинъ П. Д. Боборыкина... На дворянскую культуру надвигается оттуда промышленникъ-хищникъ, *чумазый*. Липовыя аллеи старыхъ барскихъ садовъ идутъ на дрова или на постройку, коллекціи и библіотеки исчезаютъ безслѣдно... Такая *смѣна* совершается уже довольно давно. Ея картину мы видимъ, напримѣръ, въ «Мѣщанахъ» Писемскаго. Тамъ же мы найдемъ снова и представителя старой дворянской культуры,—человѣка сороковыхъ годовъ въ указанномъ мною смыслѣ,—и представителя дворянскаго вырожденія и оскудѣнія.

Первый изъ нихъ—Бѣгушевъ. Умный, образованный, богатый, онъ не находитъ себѣ дѣла, тоскуетъ, возмущается «мѣщанствомъ», которое заполоняетъ, по его мнѣнію, Западную Европу и Россію. «Умерли и поэзія, и мысль, и искусство»,—говоритъ онъ Тюменеву.—«Ищите всего этого теперь на кладбищахъ, а живые люди будутъ только торговать тѣмъ, что наслѣдовали отъ предковъ». Бѣгушевъ потерялъ вѣру въ человѣка, *особенно въ нынѣшняго человѣка*. «Смотри, что съ міромъ сдѣлалось,—воскликаетъ онъ въ спорѣ съ пріятелемъ:—реформація и первая французская революція страшно двинули и возбудили умы. Геній творчества облеталъ всѣ лучшія головы: электричество, паръ, рабочій вопросъ,—все въ идеяхъ предъявлено было человѣчеству; но стали эти идеи реализировать и кто на это пришелъ? Торгашъ, ремесленникъ, дрянная, шваль, и однако они теперь герои дня!»



Писемскій заставляеть своего Бѣгушева произносить фразы, почти слово въ слово взятыя у Герцена. Еще задолго, наприимѣръ, до франко-прусской войны,— замѣчаетъ авторъ «Мѣщанъ»,—Бѣгушевъ говорилъ: «Пусть гг. Кошутъ и Мадзини сходятъ со сцены: имъ тамъ нѣтъ болѣе мѣста,—изъ-за заднихъ горъ показывается каска Бисмарка». Послѣ разгрома наполеоновской Франціи Бѣгушевъ восклицаетъ: «Вздоръ-съ! Этому не быть долго: нѣмцы не могутъ управлять Европой; это противорѣчило бы эстетикѣ исторіи». Но, несмотря на эти позаимствованія у Герцена, дворянскій герой Писемскаго выходитъ куда блѣднѣе тургеневскихъ героевъ. Онъ оказался, однако, способнымъ къ глубокой любви. Разочаровавшись въ любимой женщинѣ, не переставая ее любить, онъ велъ безцѣльное существованіе, въ которомъ напрасно расточались его духовныя и физическія силы. Бѣгушевъ направляется на войну съ турками, въ Малую Азію, ищетъ смерти и находитъ ее, наконецъ, на полѣ сраженія.

Бѣгушевъ не щадитъ себя и довольно правильно опредѣляетъ причины того безсилія, которое характеризуетъ людей его типа. Прежде всего вина падаетъ на безтолковое образованіе: «мы, говоритъ онъ, все знаемъ и ничего не знаемъ; потомъ непривычка къ правильному, постоянному труду, отсутствіе собственной изобрѣтательности, вслѣдствіе того всюду и во всемъ слѣпое подражаніе, а главное—сытый желудокъ и громаднѣйшее самолюбіе; схвативши верхушки кой-какихъ знаній, мы считаемъ униженіемъ для собственнаго достоинства дѣлать какія-нибудь обыкно-



венныя вещи, которыя дѣлають люди заурядные, и хотимъ создать восьмое чудо, но въ результатѣ, — печально заключаетъ Бѣгушевъ, — явимъ, какъ я, на примѣръ, пятидесятилѣтнюю жизнь тунеядца»:

Представителемъ дворянскаго духовнаго и матеріальнаго оскудѣнія является въ романѣ Писемскаго графъ Хвостиковъ, бывшій камергеръ, а потомъ, по его собственнымъ, черезчуръ мягкимъ выраженіямъ, — аферистъ и прожектеръ. Графы Хвостиковы при этомъ жалуются на правительство, которое не поддерживаетъ такихъ представителей благороднаго сословія, не даетъ имъ какой-нибудь *службишки* или *небольшой пенсіишки*...

На смѣну — въ исправленіе и дополненіе дворянской культуры — приходятъ другіе люди, которые проникаются рѣчами Рудиныхъ, какъ Басистовъ, или относятся къ такимъ *эстетикамъ* съ рѣшительнымъ отрицаніемъ, если не съ ненавистью. Разночинцы А. И. Эртеля отличаются здоровыми нервами, крѣпкою волею и способностью къ серьезному и долгому труду. Дочери и сестры этихъ разночинцевъ, какъ Елена Евдокимовна, на примѣръ, уже приближаются къ желанному типу, когда исчезнутъ крайности, которыя характеризуютъ и человѣка сороковыхъ годовъ, и разночинца. Съ другой стороны, въ томъ же направленіи двигаются женщины дворянской культуры. Такова дочь богатаго помѣщика, Елизавета Николаевна, въ «Золотыхъ сердцахъ» Н. Н. Златовратскаго. Она бросила все для *новой жизни* съ любимымъ человѣкомъ, управляющимъ у одного изъ сосѣднихъ помѣщиковъ. Такова «Барская дочь» у того же Златоврат-



скаго—Нина Петровна Ростовцева. Жена доктора, отъ лица котораго ведется разсказъ, говорила про Нину Петровну, что она похожа бываетъ на отца: въ ней было что-то красивое, гордое, сильное. Жюль Леметръ замѣчаетъ, что гордость и деликатность—это роскошь души. *Дворянская* культура эту роскошь воспитывала, хотя и въ ущербъ другимъ достоинствамъ.

Лиза, въ эпилогѣ къ «Устоямъ» Н. Н. Златовратскаго,—сельская учительница, всю душу свою положившая въ свое дѣло,—также какъ и «Барская дочь», съ тоскою замѣчаетъ *пропасть* между тѣмъ, что думается и чувствуется въ столицѣ, и тѣмъ, чѣмъ живетъ наша глухая, обездоленная деревня. «Могуче и стихійно, — пишетъ она, — катятъ свои волны эти два необозримыхъ потока, широкихъ и глубокихъ, то сливающихся, то расходящихся и враждебныхъ, и погребаютъ безслѣдно и безнадежно въ своихъ волнахъ тысячи лицъ, тысячи самоотверженныхъ существованій»...

Нѣтъ, нѣтъ! — возразимъ мы: далеко не безслѣдно и не безнадежно. Сама Лиза говоритъ, что «любовь, мысль, самопожертвованіе не могутъ быть смяты, затоптаны, не могутъ быть раздавлены и развѣяны, какъ вѣтеръ! Безъ нихъ рухнутъ самые прочные устои и самое могучее движеніе превратится въ застой!» Двѣ правды,—кончаетъ Лиза,—не могутъ быть: онѣ должны слиться въ одну или погибнуть обѣ.

Двухъ правдъ нѣтъ. Неужели просвѣщеніе удаляетъ насъ отъ истины и справедливости, а не приближаетъ къ нимъ? Неужели пытливая мысль, работавшая долгіе вѣка, не даетъ намъ ключа къ правильному пониманію



задачъ и потребностей общежитія? Міровоззрѣніе народа не есть что-либо косное, разъ навсегда опредѣлившееся,—противъ этого не будутъ, вѣроятно, спорить самые крайніе народники. А если это такъ, то развитіе народнаго міровоззрѣнія будетъ непременно происходить подъ вліяніемъ наиболѣе сильныхъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи слоевъ населенія. Народная правда—это правда мужика Ломоносова и дворянина Тургенева. Пушкинъ, сначала понятный и интересный только для немногочисленнаго въ его время образованнаго общества, теперь съ любовью читается въ крестьянскихъ школахъ; слухъ о поэтѣ, дѣйствительно, прошелъ по всей Руси великой. То же на нашихъ глазахъ сдѣлалось и съ произведеніями Лермонтова. Одинъ изъ умнѣйшихъ нашихъ писателей, вся жизнь котораго, до горькой болѣзни, прошла въ страстномъ, до страданія любовномъ исканіи правды въ народѣ и правды для народа, Глѣбъ Ивановичъ Успенскій, устами сельскаго учителя Тяпушкина говоритъ, какъ много *правды* на Западѣ Европы, какъ много ея тамъ въ такихъ отношеніяхъ, гдѣ у насъ царитъ доморощенная *власть тьмы*; какъ много тамъ сокровищъ культуры, облагораживающихъ и укрѣпляющихъ духъ челоѣка. Подошелъ Тяпушкинъ въ Луврскомъ музеѣ къ Венерѣ Милосской, и вотъ какъ онъ описываетъ впечатлѣніе, произведенное на него этимъ геніальнымъ созданіемъ греческаго искусства: «Что-то, чего я понять не могъ, дунуло въ глубину моего скомканнаго, искалѣченнаго, измученнаго существа и выпрямило меня, мурашками оживающаго тѣла пробѣжало тамъ, гдѣ уже, казалось, не было



чувствительности, заставило всего *хрустнуть* именно такъ, когда человѣкъ растеть, заставило такъ же бодро проснуться, не ощущая даже признаковъ недавняго сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросшій организмъ свѣжестю и свѣтомъ».

Своею идеальною красотой, своею человѣчностью, своимъ воплощеніемъ *счастья быть человекомъ*, Венера Милосская дала Тяпушкину понять все *горе* человеческой души, *горе* человеческихъ порядковъ. «И мысль о томъ, когда, какъ, какимъ образомъ человеческое существо будетъ распрямлено до тѣхъ предѣловъ, которые сулитъ каменная загадка, не разрѣшая вопроса, тѣмъ не менѣе рисуетъ въ нашемъ воображеніи безконечныя перспективы человеческого совершенствованія, человеческой будущности и зарождаетъ въ сердцѣ живую скорбь о несовершенствѣ теперешняго человѣка».

Прошло много лѣтъ. И вотъ Тяпушкину «въ глухой, занесенной снѣгомъ деревушкѣ, въ скверной, непривѣтливой избѣ, въ темнотѣ и тоскѣ безмолвной томительной зимней ночи вспомнилась радостная минута и оживила».

---

Подведемъ итоги. Наша дворянская культура, воспитанная на гуманныхъ западныхъ идеяхъ и на отечественномъ крѣпостномъ правѣ, была односторонняя, но однако весьма плодотворна. Ея представители въ большей или меньшей степени страдали тѣми недугами, которые порождалъ несправедливый общественный порядокъ, но они же подготовили его крушеніе — 19-го февраля 1861 года и послѣдующія



преобразованія; культура эта была неисключительно дворянская: Бѣлинскіе, Полевые, Кольцовы, Никитины и многіе другіе *разночинцы* давно уже принимаютъ въ ней выдающееся участіе и играютъ даже руководящую роль. Изъ соединенія этихъ двухъ потоковъ образуется въ настоящее время могущественное общественное теченіе, въ которомъ исчезнутъ односторонности и недостатки и сольются другъ друга дополняющія достоинства обѣихъ культуръ—и дворянской, и разночинной. Это *слиянiе*, о которомъ говорила Елизавета Петровна Мансурова, совершится однако вовсе не на почвѣ одного *благоволенія*, какимъ отличается одинъ изъ любимѣйшихъ авторомъ героевъ «Смѣны», Иванъ Антонычъ Алферовъ. Это безконечное благоволеніе (*bienveillance*) Алферовъ питаетъ «ко всякой твари, будь эта тварь Андрей Петровичъ Мансуровъ или ломовая лошадь». Мало этого *благоволенія*, — надо именно *направленіе*. Благоволеніе само по себѣ можетъ превратиться въ добродушный индифферентизмъ, стремленіе стать *внѣ партій* приводитъ къ высоко-мѣрной претензіи непогрѣшимо стоять *выше партій*. Исключая индифферентизмъ и мнимую непогрѣшимость, только любовь къ идеѣ, — къ опредѣленному строю этихъ идей, — и широкая терпимость къ чужому убѣжденію могутъ явиться благотворными началами нашей новой культуры. Намъ надо теперь глядѣть впередъ, а не заниматься старыми счетами, не плодить личнымъ самолюбіемъ общественныхъ недоразумѣній. Не должно быть ни эллина, ни іудея, ни дворянина, ни разночинца передъ великимъ началомъ просвѣщеннаго и самостоятельнаго труда на благо русскаго народа.

---



## А. П. Чеховъ.

(Опытъ литературной характеристики \*).

---

Среди современныхъ беллетристовъ, которые привлекаютъ особенно сочувственное вниманіе читателей и съ именами которыхъ связаны большія надежды нашей литературы, одно изъ наиболѣе выдающихся мѣстъ занимаетъ Антонъ Павловичъ Чеховъ. Его повѣсти и рассказы пользуются большою популярностью, расходятся во многихъ изданіяхъ. Начавши съ маленькихъ рассказовъ, — иногда просто живыхъ и съ юморомъ написанныхъ анекдотовъ, — Чеховъ въ сравнительно короткое время перешелъ къ такимъ темамъ, — очень разнообразнымъ, — которыя представляютъ значительный психологическій и общественный интересъ. Расцвѣтъ его литературной дѣятельности лежитъ еще въ будущемъ, но и того, что имъ уже написано, достаточно для признанія за Чеховымъ своеобразнаго и сильнаго дарованія. Наша критика занималась его произведеніями и указанія на отзывы наиболѣе выдаю-

---

\*) Публичная лекція въ пользу московскаго комитета грамотности.



щихся писателей служат естественнымъ введеніемъ къ попыткѣ дать литературную характеристику автора *Степи* и *Скучной исторіи*.

«Газеты, — пишетъ А. М. Скабичевскій, — выработали особеннаго рода литературный жанръ мелкихъ рассказовъ, эскизовъ, очерковъ, приноровленныхъ, по своей миниатюрности, къ размѣрамъ газетныхъ столбцовъ». Самымъ главнымъ мастеромъ и, можно сказать, создателемъ этого жанра является А. П. Чеховъ. «Произведенія Чехова, — продолжаетъ критикъ, — при всей ихъ фельетонной скороспѣлости, обнаруживаютъ сильный талантъ, блестятъ художественностью и юморомъ. Но въ нихъ одинъ существенный недостатокъ — отсутствіе объединяющаго идейнаго начала. Авторъ весь отдается мимолетнымъ впечатлѣніямъ, спѣша поскорѣе выразить ихъ въ нѣсколькихъ стахъ газетныхъ строчекъ. Вслѣдствіе этого рядомъ съ потрясающею драмой вы встрѣчаете у него рядъ анекдотовъ водевильнаго характера, написанныхъ для того лишь, чтобы посмѣшить читателей газеты. Большія его произведенія: *Степь* и *Они* отличаются тою же калейдоскопичностью и отсутствіемъ идейнаго содержанія; это не цѣльныя произведенія, а рядъ безсвязныхъ очерковъ, нанизанныхъ на живую нитку фабулы рассказа».

Такой же по общему смыслу отзывъ о произведеніяхъ Чехова даетъ Н. К. Михайловскій. Говоря о сборникѣ рассказовъ *Хмурые люди*, онъ приводитъ изъ нихъ красивыя описанія, признаетъ присутствіе поэзіи въ этихъ рассказахъ, но замѣчаетъ, что отъ книжки Чехова жизнью все-таки не вѣетъ. Дѣло, по мнѣнію Н. К. Михайловскаго, можетъ быть въ



томъ, что «г. Чехову все едино, что человекъ, что его тѣнь, что колокольчикъ, что самоубійца». Г. Чеховъ,—продолжаетъ критикъ,—«съ холодною кровью пописываетъ, а читатель съ холодною кровью почитываетъ».

Въ другой статьѣ Н. К. Михайловскій писалъ: «За многое можно ухватиться въ рассказѣ г. Чехова (*Палата № 6*), именно поэтому ни за что нельзя ухватиться съ увѣренностью». Критикъ опять указываетъ на безразличіе и безучастіе, съ какими Чеховъ «направляетъ свой превосходный художественный аппаратъ на ласточку и самоубійцу, на муху и слона, на слезы и воду».

Разбирая *Скучную исторію*, Н. К. Михайловскій признаетъ ее лучшимъ и замѣчательнѣйшимъ изъ всего написаннаго Чеховымъ. Это—трагедія, и хорошо поставленная трагедія. Въ повѣсти критикъ отмѣчаетъ хорошія, жизненные, глубоко задуманные сцены. «Оттого-то такъ хороши и жизненны этотъ рассказъ, что въ него вложена авторская боль: «талантъ долженъ время отъ времени съ ужасомъ ощущать тоску и тусклость *дѣйствительности*, долженъ ущемляться тоской потому, что называется *общей идеей* или *богомъ живого человека*. Порожденіе такой тоски и есть *Скучная исторія*».

Я останавливаю ваше вниманіе на отзывахъ объ А. П. Чеховѣ другихъ писателей: К. К. Арсеньева, Л. Е. Оболенскаго, М. А. Протопопова и И. И. Иванова.

«Съ областью *происшествія* и анекдота,—пишетъ первый изъ этихъ критиковъ,—жанръ, избранный г.



Чеховымъ, граничитъ только одною своею стороною, другою онъ примыкаетъ къ сферѣ повѣсти и романа \*). Чехову «удаются и декорации, увеличивающія эффектъ дѣйствія, и портреты, нарисованные немногими рѣзкими штрихами; ему удастся, въ особенности, воспроизведеніе мгновенныхъ душевныхъ настроеній, понятныхъ безъ углубленія въ прошедшее дѣйствующихъ лицъ, безъ всесторонняго знакомства съ ними». Въ разсказахъ Чехова находитъ для себя достаточно простора «психологія простыхъ людей, простыхъ не по сословію или званію, а по малочисленности и несложности управляющихъ ими побужденій». Наконецъ, одною изъ сильныхъ сторонъ Чехова критикъ признаетъ описанія природы. Чеховъ «обладаетъ искусствомъ олицетворять ее, заставлять ее жить точно человѣческою жизнью и, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ свободенъ отъ подражанія образцамъ, представляемымъ, въ этомъ отношеніи, нашею и западно-европейскою литературами».

Въ свою очередь Л. Е. Оболенскій, одинъ изъ первыхъ указавшій на выдающійся талантъ Чехова, упрекаетъ его, при разборѣ драмы *Ивановъ*, въ отсутствіи соціологической точки зрѣнія на жизнь и искусство. Вслѣдствіе этого именно недостатка, полагаетъ критикъ, въ произведеніяхъ Чехова нѣтъ гармоніи, того единства въ разнообразіи, которое составляетъ основное требованіе искусства.

Въ другой статьѣ, напечатанной значительно ранѣе

---

\*) Напомнимъ, что *Критическіе этюды* К. К. Арсеньева вышли въ 1888 г.



(въ декабрѣ 1886 г.), Л. Е. Оболенскій говоритъ о Чеховѣ по поводу перваго сборника его мелкихъ разсказовъ, сравнивая его произведенія съ повѣстями и разсказами В. Г. Короленка. «Сколько въ разсказахъ Чехова, — пишетъ Л. Е. Оболенскій, — жизни, сколько наблюдательности, сколько и юмора, и слезъ, и любви къ человеку!» М. А. Протопоповъ говоритъ о Чеховѣ въ одномъ изъ своихъ *Писемъ о литературѣ* (*Русская Мысль*, 1892 г., кн. II): «Повѣсть г. Чехова (*Жена*), — пишетъ критикъ, — тѣмъ для нашихъ цѣлей и удобна, что тенденція ея широка и въ то же время фальшива. Это не личная ошибка писателя, не обмолвка, — это нѣкоторымъ образомъ знаменіе времени: равнодушіе, вмѣняемое въ достоинство, отсутствіе опредѣленныхъ воззрѣній, поставляемое мудростью, безпринципность, возводимая въ принципъ, — это ли не характерныя черты переживаемаго нами момента?»

Въ январской книжкѣ *Артиста* за 1894 годъ И. И. Ивановъ (*Замѣтки читателя*) указываетъ на то, что Чеховъ хочетъ дать характеристику нынѣ дѣйствующаго поколѣнія. «Другой вопросъ — справедлива ли эта характеристика и точны ли авторскія наблюденія. Одно несомнѣнно, вопросъ поставленъ на опредѣленную и въ высшей степени любопытную почву, притомъ, въ современной литературѣ совершенно оригинальную. Наблюденія, кромѣ того, слагаются въ образы, — живые, типичные, свидѣтельствующіе о несомнѣнной психологической и художественной талантливости автора». Въ послѣднихъ произведеніяхъ Чехова, по мнѣнію И. И. Иванова, «подняты серьезнѣйшіе вопросы общественнаго содержанія, именно здѣсь



съ полною ясностью сказалось стремленіе литературы отдать отчетъ въ знаменіяхъ времени». Герои этихъ произведеній, представители современнаго поколѣнія,—неврастеники и нытики, неспособные ни на одушевленный идеею трудъ, ни на глубокое одухотворенное чувство. Они-то и составляютъ, думаетъ И. И. Ивановъ, печальное знаменіе времени.

---

Вы видите, что въ приведенныхъ отзывахъ много общаго, но есть и важныя различія, даже прямая противоположности. Одинъ упрекъ Чехову выступаетъ съ особенною ясностью: ему ставятъ на видъ отсутствіе стройнаго міропониманія, слѣдствіемъ чего являются его безразличное отношеніе къ людямъ и событіямъ, о которыхъ онъ рассказываетъ, и случайность въ выборѣ темъ, которыя составляютъ содержаніе его произведеній. Если этотъ упрекъ справедливъ, если художественный аппаратъ Чехова на самомъ дѣлѣ безразлично направленъ и на слезы, и на воду, то это, конечно, большой недостатокъ, который не можетъ не понижать внутренней цѣнности многихъ и многихъ изъ повѣстей, рассказовъ и очерковъ Чехова, и вотъ почему. Та школа шестидесятыхъ годовъ, которая предпочитала *идейное* искусство, вовсе не требовала,—и не могла, разумѣется, требовать,—идейности, направленія отъ каждаго художника. Задаваясь вопросомъ, составляетъ ли высшій идеаль художественной дѣятельности безпристрастное, объективное творчество, Добролюбовъ въ статьѣ объ *Обломовщинѣ* писалъ слѣдующее: «Категорическій отвѣтъ затруднителенъ и, во всякомъ случаѣ, былъ бы несправедливъ безъ



ограниченій и поясненій. Многимъ не нравится покойное отношеніе поэта къ дѣйствительности и они готовы тотчасъ же произнести рѣзкій приговоръ о несимпатичности такого таланта. Мы понимаемъ естественность подобнаго приговора и, можетъ быть, сами не чужды желанія, чтобы авторъ побольше раздражалъ наши чувства, усильнѣе увлекалъ насъ. Но мы сознаемъ, что желаніе это нѣсколько обломовское, происходящее отъ склонности имѣть постоянно руководителей даже въ чувствахъ».

Лѣтъ шесть или семь назадъ, приведя въ одной изъ своихъ статей эти слова Добролюбова, я прибавилъ, что склонность, о которой говорилъ знаменитый критикъ, и естественна, и законна: «Никто изъ насъ недостаточно авторитетенъ, чтобы руководить безукоризненно своими чувствами, потому что наши личные чувства воспитываются въ общественной средѣ, преобразуются подъ многочисленными личными и общественными вліяніями. Намъ необходимо искать руководителей въ томъ или въ другомъ отношеніи. Непосредственно—воспитательное значеніе искусства очень велико, и мы въ правѣ желать, чтобы художникъ разумно и честно воспользовался своимъ дарованіемъ, чтобъ онъ не зарылъ его въ землю и не послужилъ, прямо или косвенно, цѣлямъ общественной неправды». Вотъ здѣсь-то и лежитъ опасность для объективнаго, безстрастнаго художника: онъ не только можетъ тратить свое дарованіе на пустяки, на художественное изображеніе ничтожныхъ предметовъ и дѣйствій, но и дать красивое изображеніе того, что можетъ вызывать соблазнъ, заслуживать нравственное осужденіе.



Напередъ замѣчу, что не могу не согласиться съ критиками Чехова, которые находятъ нѣкоторую случайность въ выборѣ имъ темъ и бесполезную иногда трату большого дарованія на воспроизведеніе ничтожныхъ явленій. На это были свои условія, и надо надѣяться, что художественное творчество Чехова вышло теперь на настоящую дорогу. Но отъ второго, гораздо болѣе важнаго, упрека Чеховъ вполне свободенъ: его рассказы иной разъ только смѣшили, не возбуждая серьезной мысли, но никогда и нигдѣ, ни прямо, ни косвенно, не послужилъ онъ общественной неправдѣ. Спасало его то достоинство, котораго требовалъ отъ художника Чернышевскій. «Кто имѣетъ право,—писалъ Чернышевскій,—требовать отъ поэта, чтобъ онъ насилывалъ свой талантъ? Можно требовать только того, чтобъ онъ старался развить себя какъ человека».

Въ произведеніяхъ Чехова чувствуется именно человекъ, и въ доказательство этого я сдѣлаю сейчасъ краткій обзоръ содержанія его повѣстей и рассказовъ.

Разсказываетъ Чеховъ о томъ, какъ двое сотскихъ, глухою осенью, по грязной дорогѣ, ведутъ пойманнаго бродяжку (*Мечты*). Устали всѣ трое, присѣли отдохнуть. Бродяга размечтался, какъ хорошо ему будетъ жить на поселеніи. «Поставлю срубъ, братцы,—говоритъ онъ,—образовъ накуплю... Богъ дастъ, оженюсь, дѣточки у меня будутъ».

«Какъ ни наивны мечтанія бродяги,—замѣчаетъ авторъ,—но они высказываются такимъ искреннимъ, задушевымъ тономъ, что трудно не вѣрить имъ. Маленькій ротикъ бродяги перекосило улыбкой, а все



лицо и глаза, и носикъ застыли и отупѣли отъ блаженнаго предвкушенія далекаго счастья. Сотскіе слушаютъ и глядятъ на него серьезно, не безъ участія. Они тоже вѣрятъ».

Ѣздитъ по городу извозчикъ Іона Потаповъ (*Тоска*). Умеръ у него сынъ въ больницѣ, взрослый, единственный. И хочется старику рассказать кому-либо, — сѣдоку ли, дворнику ли, — о своемъ горѣ. Но никому оно не интересно, никто не хочетъ о немъ слушать. И томится Іона невысказанною мукой. Ночь настала. Легъ спать старикъ, но не спится ему. Онъ одѣвается и идетъ посмотрѣть лошадь.

« — Жуешь? — спрашиваетъ Іона у лошадки. — Ну, жуй, жуй... Коли на овесъ не выѣздили, сѣно ѣсть будемъ... Да... Старъ ужъ я сталъ ѣздить. Сыну бы ѣздить, а не мнѣ... То настоящій извозчикъ былъ... Жить бы только...

«Іона молчитъ нѣкоторое время и продолжаетъ:

« — Такъ-то, братъ, кобылочка... Нѣту Козьмы Іоныча... Приказалъ долго жить... Взялъ и померъ зря... Таперя, скажемъ, у тебя жеребеночекъ и ты этому жеребеночку родная мать... И вдругъ, скажемъ, этотъ самый жеребеночекъ приказалъ долго жить... Вѣдь, жалко?

«Лошаденка жуетъ, слушаетъ и дышетъ на руки своего хозяина.

«Іона увлекается и рассказываетъ ей все...»

Въ рассказѣ *Горе*, старый и пьяный токарь везетъ къ доктору больную жену. Дорогой она умираетъ, и въ душѣ токаря встаетъ тяжелое раскаяніе, глубокая жалость къ заколоченной и замученной имъ жен-



щинѣ. Это душевное состояніе передано Чеховымъ со свойственною ему силой, сжатостью и безыскусственностью.

«А, вѣдь, она по міру ходила! — вспоминаетъ токарь. — Самъ я посылалъ ее хлѣба у людей просить. Комиссія! Ей бы, дурѣ, еще лѣтъ десятокъ прожить, а то, небось, думаетъ, что я и взаправду такой».

И токарь мечтаетъ, какъ бы хорошо жить сызнова.

Вспомните рассказъ о томъ, какъ бѣднаго, умирающаго съ голоду ребенка два сострадательныхъ господина въ цилиндрахъ, потѣхи ради, обкормили устрицами... А сколько теплаго, горячаго сочувствія людямъ въ рассказѣ *Письмо*, гдѣ пьяненькій, попавшій подъ судъ священникъ уговариваетъ дьякона не посылать къ сыну строго-укорительнаго письма. «Прямо такъ возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петръ! Онъ пойме-отъ! Почувствуетъ! Я, братъ... я, дьяконъ, по себѣ это понимаю. Когда жилъ, какъ люди, и горя мнѣ было мало, а теперь, когда образъ и подобіе потерялъ, только одного и хочу, чтобъ меня добрые люди простили. Да и то разсуди, не праведниковъ прощать надо, а грѣшниковъ. Для чего тебѣ старушку свою прощать, ежели она не грѣшная? Нѣтъ, ты такого прости, на котораго глядѣть жалко... Да!»

Читаете вы этотъ маленькій рассказъ и душа ваша наполняется умиленіемъ. Этотъ безпутный попикъ гуманнѣе, справедливѣе, поступаетъ въ данномъ случаѣ болѣе по-христіански, чѣмъ безукоризненный отецъ благочинный, который продиктовалъ дьякону грозное письмо къ сыну. Та же глубоко гуманная нота ярко звучитъ въ рассказѣ *Припадокъ*.



Всегда и вездѣ симпатіи Чехова на сторонѣ униженныхъ и оскорбленныхъ, на сторонѣ искренности и правды, противъ условнаго лицемѣрія и фарисейскаго благочестія. Прочтите рассказъ *Бабы*. Въ немъ набожный Матвѣй Саввичъ, мѣщанинъ и съемщикъ садовъ, рассказываетъ, какъ онъ, «живя согласно съ строгою моралью», гнуснымъ образомъ погубилъ полюбившую его жену сосѣда. Симпатій своихъ Чеховъ не подчеркиваетъ, отъ себя не говоритъ ни слова и осуждаютъ безнравственнаго святошу только *бабы*, выведенныя въ рассказѣ; но ошибиться въ томъ, куда именно направлено сочувствіе автора и на что онъ негодуетъ, по-моему, невозможно. Объективная форма рассказа въ данномъ случаѣ, пожалуй, усиливаетъ впечатлѣніе, возбуждаетъ въ читателѣ страстное отвращеніе къ пользующемуся почетомъ Матвѣю Саввичу.

Посмотрите, какъ нѣжно, съ какою любовью описываетъ Чеховъ дѣтей, — новое доказательство той глубокой гуманности, которою проникнуты его произведенія. Вотъ тринадцатилѣтняя *нянька* Варька, забитая, запуганная въ семьѣ сапожника. Днемъ ей нѣтъ минуты, чтобы присѣсть и отдохнуть, ночью она должна укачивать ребенка. Бѣдная дѣвочка доводится до сумасшествія. Ей мучительно, до безумія *спать хочется*, и въ этомъ состояніи Варька душитъ плачущаго ребенка. «Задушивъ его, она быстро ложится на полъ, *смыется отъ радости, что ей можно спать*, и черезъ минуту спитъ ужъ крѣпко, какъ мертвая».

Рассказъ *Дѣтвора*, гдѣ тонко подмѣчены черты дѣтскихъ характеровъ, вызвалъ нѣсколько весьма сочувственныхъ отзывовъ и, вѣроятно, извѣстенъ моимъ



слушателямъ, и на немъ поэтому останавливаться я не буду. Столь же художественно и правдиво написанъ рассказъ *Событіе*, которое заключается въ томъ, что родятся котята, и это приводитъ дѣтей въ чрезвычайный восторгъ. Отмѣчу въ этомъ маленькомъ рассказѣ слѣдующее замѣчаніе Чехова, характерное для его отношенія къ людямъ и къ природѣ: «Въ воспитаніи и въ жизни дѣтей домашнія животныя играютъ едва замѣтную, но несомнѣнно благотворную роль,— говоритъ Чеховъ. — Кто изъ насъ не помнитъ сильныхъ, но великодушныхъ псовъ, дармоѣдовъ-болонокъ, птицъ, умиравшихъ въ неволѣ, тупоумныхъ, но надменныхъ индюковъ, кроткихъ старухъ-кошекъ, прощавшихъ намъ, когда мы ради забавы наступали имъ на хвосты и причиняли имъ мучительную боль? Мнѣ даже иногда кажется, — продолжаетъ Чеховъ, — что терпѣніе, вѣрность, всепрощеніе и искренность, какія присущи нашимъ домашнимъ тварямъ, дѣйствуютъ на умъ ребенка гораздо сильнѣе и положительнѣе, чѣмъ длинныя нотаціи сухого и блѣднаго Карла Карловича или же туманныя разглагольствованія гувернантки, старающейся доказать ребятамъ, что вода состоитъ изъ кислорода и водорода».

Чеховъ вообще мастеръ описывать и животныхъ, и природу. Укажу для примѣра на рассказъ *Нахлебники* гдѣ выведены забитая старая лошадь и полудохлая собака Лыска. Умѣнье слиться съ природой, олицетворить ее, въ общей картинѣ неразрывно соединить съ жизнью этой природы жизнь людей особенно удачно, по моему мнѣнію, обнаружилъ Чеховъ въ большой и превосходной «исторіи одной поѣздки» (*Стень*).



Въ глазахъ читателя ярко встаетъ эта степь и утромъ, и днемъ, и ночью, и въ ясную погоду, и въ грозу, и въ ненастье. Вы чувствуете, какъ особенности степи вырабатываютъ и особенности въ отношеніяхъ людей, такъ или иначе связанныхъ со степью. Вы видите этихъ людей, понимаете, что въ степи должны быть они именно такими, что власть природы накладываетъ свою руку и на характеръ человѣка, и на характеръ его хозяйственной дѣятельности. Никакія географическія, этнографическія и экономическія описанія не даютъ такой цѣлостной и ясной картины степи и ея жителей, какъ эта «исторія одной поѣздки». И какія красивыя, одухотворенныя описанія природы читаемъ мы въ этой повѣсти! Приведу одинъ примѣръ.

Ѣдетъ бричка. «Точно она ѣхала назадъ, а не дальше: путники видѣли то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули въ лиловой дали и не было видно ихъ конца; мелькалъ бурьянъ, булыжникъ, проносились сжатые полосы, и все тѣ же грачи, да коршунъ, солидно взмахивающій крыльями, леталъ надъ степью. Воздухъ все больше застывалъ отъ зноя и тишины, покорная природа цѣпенѣла въ молчаніи... Ни вѣтра, ни бодраго, свѣжаго звука, ни облачка.

«Но вотъ, наконецъ, когда солнце стало спускаться къ западу, степь, холмы и воздухъ не выдержали гнета и, истощивши терпѣніе, измучившись, попытались сбросить съ себя иго. Изъ-за холмовъ неожиданно показалось пепельно-сѣдое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, — я, молъ, готово, — и нахмурилось. Вдругъ въ стоячемъ воздухѣ что-то порвалось, сильно рвануль вѣтеръ и съ шумомъ, со



свистомъ закрутился по степи. Тотчасъ же трава и прошлогодній бурьянъ подняли ропотъ, на дорогѣ спирально закружилась пыль, побѣжала по степи и, увлекаая за собой солому, стрекозъ и перья, чернымъ вертящимся столбомъ поднялась къ небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперекъ, спотыкаясь и прыгая, побѣжали перекасти-поле, а одно изъ нихъ попало въ вихрь, завертѣлось, какъ птица, полетѣло къ небу и, обратившись тамъ въ черную точку, исчезло изъ вида. За нимъ понеслось другое, потомъ третье, и Егорушка видѣлъ, какъ два перекасти-поле столкнулись въ голубой вышинѣ и вцѣпились другъ въ друга, какъ на поединкѣ».

Позвольте мнѣ сопоставить съ этимъ описаніемъ картину той же степи, нарисованную другимъ художникомъ, Левитовымъ.

«Чувствую я,—пишетъ Левитовъ,—что голову мою начинаетъ жечь палящій жаръ степной. Удрученная своею скорбною думой, съ каждымъ шагомъ развивавшеюся все печальнѣе и печальнѣе, она невыразимо страдала: какія-то проклятія слагались въ ней, какая-то мука тяготѣла надъ ней и не давала возможности сообразить, лучъ ли солнечный билъ въ нее этою мукой, или какое-то смертное томленіе, обыкновенно примѣчаемое въ пустынѣ, когда солнце зальетъ ее потоками своего палящаго свѣта, заставляетъ ее страдать?»

«И дѣйствительно, самое равнодушное сердце не могло не биться усиленно при видѣ этой картины одного общаго, всецѣлаго, такъ сказать, страданія. И, казалось вамъ, тѣмъ тяжелѣе страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновеннаго



въ этихъ случаяхъ; только одни глаза видѣли во всемъ какую-то удушающую, гнетущую полноту...

«Придорожныя ветлы, какъ человѣкъ въ неожиданномъ несчастіи, распустили свои запыленные вѣтви и молчаливо стояли, будто окаменѣлыя. Десятки птицъ унижали ихъ кривые сучья. Идете вы и видите, какъ какой-нибудь воронъ, въ другое время чуткій и пугливый, теперь и не думаетъ примѣчать васъ. Вцѣпился онъ острыми когтями въ древесную кору, раздвинулъ сѣрыя крылья и озадаченно смотритъ на васъ, удивляясь, повидимому, вашей охотѣ топтаться въ такую мучительную пору. На встрѣчу вамъ, время отъ времени, побѣжить тощая, искалѣченная, съ перебитой ногой, собака, съ хвостомъ, волочащимся по землѣ. И въ глазахъ животнаго видна та же мука. Такъ жалобно посмотрѣла на васъ собака, такъ выразительно замахала хвостомъ, что будто просила васъ помочь какъ-нибудь ея перебитой ногѣ.

«А по обѣимъ сторонамъ степной дороги, изъ золотыхъ волнъ ржи, мелькаютъ бѣлыя рубахи на трудящихся спинахъ людей. Вамъ не видно красныхъ, изможденныхъ лицъ этихъ людей, покрытыхъ кровавымъ потомъ,—и лучше!

«И все это какъ-то непріязненно молчитъ молчаніемъ мертвеца, словно по чьему-нибудь строгому запрещенію...

«Но прихотливы бываютъ дорожныя думы... Идете вы и думаете: что было бы, ежели бы все это, не вынеся своей тяжелой боли, вскрикнуло вдругъ?»

Картина степного зноя у Чехова сжатѣе, образнѣе, красивѣе; но я хочу обратить ваше вниманіе на другую



особенность Чехова въ изображеніи природы. Описаніе Левитова субъективно: онъ самъ и люди вообще играютъ преобладающую роль; Чеховъ является пантеистомъ, въ его степи человѣкъ — одно изъ множества явленій, равноправныхъ съ другими. Мнѣ кажется, что такое міропониманіе разлито и въ другихъ произведеніяхъ этого даровитаго писателя. Въ рассказѣ *Перекати-поле*, который ведется отъ перваго лица, есть такое разсужденіе: «Не далѣе какъ на аршинъ отъ меня лежалъ скиталецъ; за стѣнами въ номерахъ и на дворѣ, около телѣгъ, среди богомольцевъ не одна сотня такихъ же скитальцевъ ожидала утра, а еще дальше, если сумѣть представить себѣ всю Русскую землю, какое множество такихъ же перекати-поле, ища гдѣ лучше, шагало теперь по большимъ проселочнымъ дорогамъ или, въ ожиданіи разсвѣта, дремало въ постоянныхъ дворахъ, корчмахъ, гостиницахъ, на травѣ подъ небомъ... Засыпая, я воображалъ себѣ, какъ бы удивились и, быть можетъ, даже обрадовались всѣ эти люди, если бы нашлись разумъ и языкъ, которые сумѣли бы доказать имъ, что ихъ жизнь такъ же мало нуждается въ оправданіи, какъ и всякая другая».

Это міровоззрѣніе принимаетъ иногда у Чехова печальный оттѣнокъ. Въ рассказѣ *Счастье* есть такое, напримѣръ, мѣсто: «Проснушіеся грачи, молча и въ одиночку, летали надъ землей. Ни въ лѣнивомъ полетѣ этихъ долговѣчныхъ птицъ, ни въ утрѣ, которое повторяется аккуратно каждая сутки, ни въ безграничности степи, — ни въ чемъ не видно было смысла». Есть другое мѣсто, въ другомъ произведеніи, о которомъ я уже говорилъ, въ *Степи*, гораздо болѣе силь-



ное: «Когда долго, не отрывая глазъ, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются въ сознаніе одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одинокимъ и все то, что считалъ раньше близкимъ и роднымъ, становится безконечно далекимъ и не имѣющимъ цѣны. Звѣзды, глядящія съ неба уже тысячи лѣтъ, само непонятное небо и мгла, равнодушная къ короткой жизни человѣка, когда остаешься съ ними съ глазу на глазъ и стараешься постигнуть ихъ смыслъ, гнететъ душу своимъ молчаніемъ; приходитъ на мысль то одиночество, которое ждетъ cadaго изъ насъ въ могилѣ, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...».

Не правда ли, глубокою скорбью, трогательною печалью вѣетъ отъ этихъ строкъ?

Пойдемъ далѣе. Въ той же *Степи* говорится объ одинокой могилѣ, въ которой зарытъ убитый и ограбленный купецъ. «Въ одинокой могилѣ есть что-то грустное, мечтательное и въ высшей степени поэтическое... Слышно, какъ она молчитъ, и въ этомъ молчаніи чувствуется присутствіе души неизвѣстнаго человека, лежащаго подъ крестомъ. Хорошо ли этой душѣ въ степи? Не тоскуетъ ли она въ лунную ночь? А степь возлѣ могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальнѣй и кажется, что кузнечики кричатъ слержаннѣе...»

Тѣ же ноты слышатся въ размышленіяхъ Рябовича (въ рассказѣ *Поцѣлуй*). Тотъ контрастъ, который такъ удивительно изображенъ Пушкинымъ въ элегіи *Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ*, часто останавливаетъ на себѣ вниманіе Чехова. Вотъ умершаго матроса



(Гусева) завернули въ саванъ-мѣшокъ и торжественно спускають въ море. Не дошелъ до дна бѣдный матросикъ: перехватила его акула... «А наверху въ это время, въ той сторонѣ, гдѣ заходитъ солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Изъ-за облаковъ выходитъ широкій зеленый лучъ и протягивается до самой середины неба; немного погодя, рядомъ съ этимъ ложится фіолетовый, рядомъ съ нимъ золотой, потомъ розовый... Небо становится нѣжно-сиреневымъ... Глядя на это великолѣпное, очаровательное небо, океанъ сначала хмурится, но скоро самъ пріобрѣтаетъ цвѣта ласковые, радостные, страстные, какіе на человѣческомъ языкѣ и назвать трудно».

Для пониманія произведеній Чехова я считаю очень важнымъ эту точку зрѣнія, а поэтому еще немного задержу ваше вниманіе на вопросѣ объ его міровоззрѣніи. Въ рассказѣ *Вѣрочка* Огневъ идетъ ночью, горячо простившись со старикомъ Кузнецовымъ, и думаетъ «о томъ, какъ часто приходится въ жизни встрѣчаться съ хорошими людьми и какъ жаль, что отъ этихъ встрѣчъ не остается ничего больше, кромѣ воспоминаній. Бываетъ такъ, что на горизонтѣ мелькнутъ журавли, слабый вѣтеръ донесетъ ихъ жалобно-восторженный крикъ, а черезъ минуту съ какою жадностью ни вглядывайся въ синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука; такъ точно люди съ ихъ лицами и рѣчами мелькають въ жизни и утопають въ нашемъ прошломъ, не оставляя ничего больше, кромѣ ничтожныхъ слѣдовъ памяти».



Теперь вспомните, что Чеховъ—медикъ по профессіи, и вамъ станетъ многое понятно въ его художественномъ творчествѣ, многіе изъ упрековъ критики, на первый взглядъ основательные, должны быть смягчены, а другіе нельзя не признать и совсѣмъ неосновательными. Талантливый беллетристъ поступаетъ иногда какъ талантливый и добросовѣстный земскій врачъ: быстро поставивъ діагнозъ трудно-больному, онъ переходитъ къ другому, который воображаетъ, что онъ боленъ, и возбуждаетъ либо смѣхъ, либо досаду, и т. д. Въ пріемахъ Чехова, въ простотѣ, ясности и точности изображенія, мы также узнаемъ естествоиспытателя. Въ его повѣстяхъ и разсказахъ часто встрѣчаются больные люди со сложными движеніями ненормальной души. Какъ врачъ, онъ спокойнѣе относится къ людскимъ страданіямъ, но не можетъ не останавливаться на такихъ явленіяхъ, когда болѣзнь неожиданно и негаданно уноситъ цвѣтущую, полную надеждъ молодую жизнь (разсказъ *Тифъ*).

Не только отдѣльно взятые люди и не одна природа привлекаютъ вниманіе Чехова. Рѣже, гораздо рѣже, но все-таки встрѣчаются у него картины общественной жизни, полныя глубокаго смысла, вызывающія у автора скорбныя мысли. Прокуроръ, напри-мѣръ, въ разсказѣ *Дома*, вспоминаетъ объ исключенныхъ изъ гимназіи и не можетъ не признать, что наказаніе очень часто приноситъ гораздо больше зла, чѣмъ само преступленіе. «Животный организмъ, полагаетъ прокуроръ, обладаетъ способностью быстро приспособляться, привыкать и принохливаться къ какой угод-



но атмосферѣ, иначе человѣкъ долженъ былъ бы каждую минуту чувствовать, какую неразумную подкладку нерѣдко имѣетъ его разумная дѣятельность и какъ еще мало осмысленной правды и увѣренности даже въ такихъ ответственныхъ, страшныхъ по результатамъ дѣятельностяхъ, какъ педагогическая, юридическая, литературная»...

Отмѣтимъ это «еще мало осмысленной правды и увѣренности», какъ лучъ тепла и надежды въ печальномъ міропониманіи, которое мы имѣли основаніе предположить въ авторѣ *Скучной исторіи*. Какъ художникъ, Чеховъ можетъ опозитизировать горе, самую смерть. Описывая, напримѣръ, смерть ребенка въ семьѣ доктора, Чеховъ говоритъ: «Тотъ отталкивающий ужасъ, о которомъ думаютъ, когда говорятъ о смерти, отсутствовалъ въ спальнѣ. Во всеобщемъ столбнякѣ, въ позѣ матери, въ равнодушіи докторскаго лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человѣческаго горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умѣетъ передавать одна только музыка (*Врачи*).

Эта поэтизація горя можетъ, конечно, вести къ крайне вреднымъ результатамъ, стать весьма прискорбною одно-сторонностью; но Чеховъ свободенъ отъ такой одно-сторонности. Въ томъ же разсказѣ онъ говоритъ: «Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менѣе, чѣмъ глупцы, способны понимать другъ друга. Не соединяетъ, а разъединяетъ людей несчастье, и даже тамъ, гдѣ, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, продѣлывается гораздо больше



несправедливостей и жестокостей, чѣмъ въ средѣ сравнительно довольной».

Несправедливость и жестокость развиваются, конечно, въ благопріятной для нихъ ненормальной общественной средѣ. Чеховъ мастерски описываетъ нашу городскую (уѣздную) жизнь, въ которой нѣтъ никакихъ духовныхъ интересовъ, гдѣ дремлетъ мысль, гдѣ замираютъ добрые порывы людей, пришедшихъ туда и съ образованіемъ, и съ желаніемъ трудиться. Такую картину видимъ мы и въ *Палатѣ № 6*, и въ другихъ разсказахъ, напримѣръ, въ *Мыслитель*. Въ разсказѣ *Злоумышленникъ* съ потрясающею силой и съ удивительною простотою передана судебная трагедія: мужикъ отвинчивалъ гайки у рельсовъ желѣзной дороги; гайки нужны ему для рыбной ловли, и онъ никакъ не можетъ понять, что это тяжкое преступленіе, что за это ему грозитъ острогъ.

Есть у Чехова маленькій разсказикъ, всего въ три странички, — *Отставной рабъ*, гдѣ съ необыкновенною яркостью изображено то нравственное искаженіе, которому подвергались люди при крѣпостномъ правѣ. Я не стану приводить его содержанія и упоминаю о немъ лишь затѣмъ, чтобы привести новое доказательство того, что Чеховъ хорошо понимаетъ зло несправедливыхъ и несвободныхъ общественныхъ условій, хоть и рѣдко затрагиваетъ такія темы. Такое же впечатленіе производитъ и разсказъ *Капитанскій мундиръ*, въ которомъ портной Меркуловъ съ умиленіемъ сообщаетъ, что капитанъ, не заплатившій ему за мундиръ, билъ его точно такъ же, какъ въ счастливыя для рабьей души времена бивалъ Меркулова баронъ Шпунцель...



Затронуть у Чехова и другой важный вопросъ. Въ рассказѣ *Непріятность* мировой судья говоритъ, что «въ настоящее время честныхъ и трезвыхъ работниковъ, на которыхъ вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенціи и мужиковъ, т.-е. среди этихъ двухъ крайностей, и только». Весьма трудно найти честнаго и трезваго фельдшера, писаря, приказчика... Земскій докторъ замѣчаетъ на это, что иначе и быть не можетъ, что у такого *средняго человека* нѣтъ ни образованія, ни собственности; «читать и ходить въ церковь ему некогда, насъ онъ не слышитъ, потому что мы не допускаемъ его къ себѣ близко. Такъ онъ и живетъ изо дня въ день до самой смерти безъ надеждъ на лучшее, обѣдая впроголодь, боясь, что вотъ-вотъ его прогонятъ изъ казенной квартиры, не зная, куда приткнуться своихъ дѣтей. Ну, какъ тутъ, скажите, не пьянствовать, не красть? Гдѣ тутъ взяться принципамъ?»

---

Я далеко не исчерпалъ, конечно, содержанія произведеній Чехова, да это и невозможно въ предѣлахъ публичной лекціи. Дарованіе этого писателя находится въ расцвѣтѣ и полная оцѣнка его художественной дѣятельности еще впереди. Мы замѣчаемъ въ послѣднее время расширеніе круга его наблюденій и углубленіе содержанія его повѣстей и рассказовъ. *Рассказъ неизвѣстнаго человека* даетъ намъ замѣчательно удачную картину извѣстной части петербургскаго бюрократическаго міра. Хорошо задуманъ, но не вполне безукоризненно нарисованъ герой рассказа — бывшій революціонеръ. А. М. Скабичевскій, довольно сурово



относившійся къ Чехову, считаетъ выведенный имъ въ *Бабьемъ царствѣ* типъ Анны Акимовны самымъ замѣчательнымъ типомъ купеческой среды послѣ комедій Островскаго.

Нѣтъ основаній опасаться, что въ дальнѣйшихъ своихъ произведеніяхъ Чеховъ будетъ случайно выбирать темы, расточая свои силы на изображеніе ничтожныхъ явленій, хотя, — спѣшу прибавить, — возбудить остроумною шуткой, въ художественной формѣ, здоровый смѣхъ есть немаловажная заслуга. Юморъ Чехова отличается нерѣдко заразительною веселостью и возбуждаетъ въ читателѣ хорошее, свѣтлое настроеніе. Эта драгоцѣнная особенность его таланта спасаетъ его отъ избытка пессимизма, отъ налета горькой скорби въ виду массы случайнаго и жестокаго...

Я передамъ, въ немногихъ словахъ, одинъ изъ юмористическихъ разсказовъ Чехова въ виду того, что въ этотъ съ перваго взгляда анекдотъ заключена, мнѣ кажется, серьезная мысль. Къ сожалѣнію, разсказъ въ передачѣ будетъ, конечно, испорченъ.

Въ кабинетъ доктора Кошелькова (*Произведеніе искусства*) входитъ молодой человѣкъ Смирновъ. Докторъ вылѣчилъ юношу, и вотъ его мать, покойный мужъ которой торговалъ старинною бронзой, посылаетъ доктору въ благодарность канделябръ дѣйствительно художественной работы, но съ непристойными женскими фигурами. Докторъ посмотрѣлъ на подарокъ.

«— Да, вещь, дѣйствительно, прекрасная, — пробормоталъ онъ, — но... какъ бы выразиться, не тово... не литературна слишкомъ... Это ужъ не декольте, а чортъ знаетъ что»...



Молодой человекъ пристаётъ къ доктору, убѣждая его быть выше толпы. У самого Смирнова отъ созерцанія этого канделябра «душу наполняетъ благоговѣйное чувство и къ горлу подступаютъ слезы». *Avis* нашимъ декадентамъ.

Смирновъ жалѣетъ только о томъ, что у нихъ нѣтъ пары для этого канделябра, и навязываетъ-таки его доктору.

Кошельковъ въ недоумѣніи: оставить у себя на квартирѣ такое *произведеніе искусства*, конечно, дѣло невозможное.

Везетъ онъ канделябръ къ адвокату Ухову. Тотъ приходитъ въ неописанный восторгъ, но принимать подарка не соглашается:

«У меня бываютъ тутъ мать, кліенты... да и отъ прислуги совѣстно»...

Докторъ однако насильно оставляетъ свой канделябръ, а адвокатъ придумываетъ подарить его бенефицианту, комику Шашкину. Шашкинъ также въ восторгѣ и также не желаетъ оставлять у себя этого *художественнаго произведенія*. Онъ продаетъ его старухѣ, торгующей бронзой.

Черезъ два дня въ квартиру доктора Кошелькова является улыбающійся, счастливый Саша Смирновъ.

«Докторъ! — началъ онъ, задыхаясь. — Представьте мою радость! На ваше счастье, намъ удалось приобрѣсти пару для вашего канделябра! Мамаша такъ счастлива... Я единственный сынъ у матери... вы спасли мнѣ жизнь»...

Того, кто написалъ эту милую шутку, этотъ полный смысла анекдотъ, не увлечетъ одна форма, тотъ потре-



буетъ отъ дѣйствительно художественнаго произведе-  
нія чистоты и правды.

Этими качествами отличаются рассказы и повѣсти  
Чехова. Отъ нихъ вѣетъ правдивостью, онъ не опи-  
сываетъ того, чего не видалъ, не зналъ, не перечув-  
ствовалъ. Его пессимистическое міровоззрѣніе не  
принимаетъ гнетущаго характера, нигдѣ у него не  
звучитъ отчаяніе. Живая любовь къ живому человѣку  
и тонкое художественное чутье, съ какимъ Чеховъ  
любитъ и человѣка, и природу, придаютъ его думамъ  
о случайности и быстротечности жизни печальный,  
но мягкій оттѣнокъ, подобный тому міропониманію,  
которое разлито въ произведеніяхъ Тургенева. Сим-  
патія къ слабому, негодованіе къ сильному злему—  
вотъ что часто выносишь изъ рассказовъ Чехова; ни  
на одну дурную мысль они не натолкнутъ, никакого  
сквернаго побужденія не вызовутъ. Чувствуется въ  
нихъ недостатокъ мужественныхъ, призывныхъ нотъ,—  
и понятно почему: отдѣльно взятый человѣкъ — нич-  
тожный атомъ въ вѣчномъ міровомъ круговоротѣ.  
Въ виду бездоннаго неба онъ, одинокій, дѣйствительно  
долженъ испытывать либо ужасъ, либо глубокую пе-  
чаль. Но въ томъ-то и дѣло, что человѣкъ не одинокъ.  
Любовью, дружбою, идеями связаны между собою  
люди, и, опираясь другъ на друга, они имѣютъ пол-  
ное основаніе смотрѣть въ историческую даль съ  
бодрою надеждой, съ сознательнымъ упованіемъ.  
Итти рядами и шеренгами, при свѣтѣ науки, подъ  
знаменемъ общественнаго и личнаго идеала, значитъ  
удесятерять свои силы, значитъ бесконечно ускорять  
побѣду на землѣ добра, справедливости и самой кра-



соты. Изображать въ художественныхъ произведеніяхъ движенія человѣческой души въ общественныхъ условіяхъ, изображать общественное движеніе, въ которомъ выступаетъ и личность, и масса, — составляетъ высокую задачу искусства. Будетъ ли при этомъ писатель объективнымъ художникомъ или пророкомъ освобожденія, — этотъ вопросъ рѣшается не требованіями со стороны, но самою природою художника. Критика должна требовать одного, — того, о чемъ говорилъ Чернышевскій: художникъ *долженъ* развивать въ себѣ *человѣка*. Это требованіе Чеховымъ исполнено. Но если нельзя предъявлять другихъ *требованій*, то можно высказывать горячія желанія. Пожелаемъ же, чтобы художникъ-человѣкъ былъ и художникомъ-гражданиномъ.

Художественное произведеніе, написанное человѣкомъ, который любитъ простоту и правду, который любитъ людей, доставить, конечно, и эстетическое наслажденіе, и нравственное удовлетвореніе. Оно поддержитъ иной разъ слабѣющую энергію или потушающій гнѣвъ. Но если принять во вниманіе, какъ мало, сравнительно говоря, число людей, живущихъ отвлеченными идеями, способныхъ увлекаться принципами, то станетъ понятнымъ желаніе искать помощи у искусства для болѣе опредѣленнаго воздѣйствія на общество, для воспитанія въ немъ не только добрыхъ чувствъ, но и гражданскихъ стремленій. Служеніе красотѣ и правдѣ вызываетъ глубокое уваженіе. Это уваженіе только усилится, если художникъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, послужитъ и дѣлу общественной справедливости, если онъ дастъ намъ, въ прекрасныхъ формахъ,



не только изображеніе дѣйствительности, ея мутныхъ волнъ или ея гніющаго болота, но подмѣтитъ и освѣтитъ новыя, свѣжія теченія,—а, вѣдь, они несомнѣнно существуютъ,—если онъ укажетъ намъ широкіе пути къ разумному, человѣчному счастью, котораго нѣтъ и быть не можетъ безъ энергичнаго труда ради общественной правды, безъ честной борьбы ради народнаго счастья.



## Д. И. Писаревъ \*).

---

Біографъ Писарева говоритъ, что давно пора приступить къ спокойной и безпристрастной оцѣнкѣ шестидесятихъ годовъ. Это, конечно, не подлежитъ сомнѣнію, но *пора* зависитъ не отъ доброй воли критики. Лишь недавно стали выходить сочиненія Чернышевскаго; только лѣтомъ нынѣшняго года появилось новое изданіе сочиненій Писарева (первое давно уже стало библіографическою рѣдкостью). Общество наше, несмотря на неблагопріятныя обстоятельства, все же ушло впередъ, и многое изъ того, что волновало людей шестидесятихъ годовъ, не имѣетъ значенія для насъ. Но этого «прогресса» не слѣдуетъ преувеличивать, и знакомство со статьями Чернышевскаго, Добролюбова, Писарева представляетъ во многихъ отношеніяхъ интересъ живой современности.

На нашихъ глазахъ произведены были попытки унижить этихъ писателей, доказать ихъ вредное влія-

---

\*) Сочиненія Д. И. Писарева. Спб., 1894 г. Изд. Ф. Павленкова. Шесть томовъ. Е. А. Соловьевъ: „Д. И. Писаревъ, его жизнь и литературная дѣятельность“. Спб., 1893 г. (Біографическая библіотека Ф. Павленкова).



ніе на развитіе русскаго общества. Попытки эти встрѣтили рѣзкій отпоръ со стороны нѣкоторой части нашей печати. Тогда изъ лагеря нападавшихъ слышались крики негодованія, упреки въ нетерпимости. Дѣло старались представить въ такомъ видѣ, будто защитники «шестидесятыхъ годовъ» не желаютъ допускать никакой критики на своихъ кумировъ. Это было бы, разумѣется, нелѣпостью, особенно удивительною по отношенію къ памяти людей, которые разрушали авторитеты и не стѣснялись въ полемикѣ. Въ дѣйствительности ничего подобнаго не было: возмущались не тѣмъ, что нападали на знаменитыхъ писателей конца пятидесятихъ и начала шестидесятыхъ годовъ, а тѣмъ, *какъ* на нихъ нападали. Никто находящійся въ здоровомъ умѣ не поставитъ въ вину писателю, если онъ будетъ бороться съ враждебнымъ ему направленіемъ, критиковать неправильное, по его мнѣнію, міропониманіе. Но каждый честный писатель долженъ протестовать противъ безнравственныхъ пріемовъ такой критики. Спиритуалистъ ли, матеріалистъ ли такой писатель, ему одинаково постылы наглость и лицемеріе.

Можно признать искренность утвержденій, будто благородныя чувства и прекрасныя общественныя порядки неразрывно связаны съ метафизическою философіей. Такая постановка вопроса неправильна, но не возмутительна. Неправильна потому, что многія метафизическія системы оправдывали и эгоизмъ и деспотизмъ, — это съ одной стороны, а съ другой стороны общественныя и личныя идеалы позитивистовъ и матеріалистовъ бывали образцомъ справедливости и нравственности и сходились съ стремленіями нѣкоторыхъ мыслителей.



метафизиковъ. Этихъ соображеній достаточно для выясненія нашей точки зрѣнія на людей шестидесятыхъ годовъ. Признавая за ними великія заслуги, мы не станемъ закрывать глаза и на ихъ недостатки.

Еще одно предварительное замѣчаніе: шестидесятые годы нельзя ни принимать, ни отвергать цѣликомъ, en bloc, — по выраженію знаменитаго французскаго политическаго дѣятеля: въ это время преобладающимъ значеніемъ дѣйствительно пользовались *Современникъ* и *Русское Слово*, но нѣсколько лѣтъ это вліяніе раздѣлялъ съ ними и катковскій *Русскій Вѣстникъ*, усердно проповѣдывавшій тогда судъ присяжныхъ и другія западно-европейскія учрежденія. Оживленіе коснулось и славянофильскихъ органовъ. Надобно прибавить, что нельзя смѣшивать въ общей оцѣнкѣ и *Современникъ* съ *Русскимъ Словомъ*. Г. Е. Соловьевъ говоритъ, что «принципіальнаго разногласія между *Словомъ* и *Современникомъ* не было». Это, конечно, зависитъ отъ того, какъ понимать эпитетъ *принципіальный*. Во всякомъ случаѣ, самъ Писаревъ говоритъ слѣдующее: «Я всегда считалъ и до сихъ поръ считаю Добролюбова за очень честнаго человѣка; но съ очень многими изъ его мнѣній я, все-таки, рѣшительно не согласенъ»<sup>\*)</sup>. Въ другой статьѣ, особенно важной для характеристики взглядовъ Писарева, онъ пишетъ, что, поговоривъ съ глазу на глазъ съ Добролюбовымъ, онъ не сошелся бы съ критикомъ *Современника* «почти ни на одномъ пунктѣ»<sup>\*\*)</sup>.

<sup>\*)</sup> Сочин., томъ V, стр. 155.

<sup>\*\*)</sup> Сочин., томъ IV, стр. 33.



Это уже преувеличеніе. Пунктовъ сходаства оказа-лось бы не мало, но и разногласія, дѣйствительно, были бы значительны. «Добролюбовъ,—писалъ Писаревъ,—думалъ, что жизнь можетъ обновиться порывами чувства, а я убѣжденъ, что она обновляется только работою мысли. Добролюбовъ почти не имѣлъ понятія о естественныхъ наукахъ, а я считаю ихъ краеугольнымъ камнемъ здороваго умственнаго развитія и всякаго человѣческаго прогресса».

Я не имѣю въ виду проводить параллель между Добролюбовымъ и Писаревымъ, замѣчу лишь, что странно утверждать, будто авторъ *Темнаго царства* признавалъ возможность обновленія русской жизни только порывами чувства, и не менѣе странно утвержде-ніе, что такое обновленіе возможно только работою мысли.

По поводу новаго изданія сочиненій Писарева въ *Биржевыхъ Вѣдомостяхъ* появилась любопытная статья г. Дебютанта: *Конецъ легенды* \*). Г. Дебютантъ говоритъ, что учился въ гимназій въ семидесятыхъ годахъ и увлеченъ былъ тогда писаревскими идеями. Его оставили даже на другой годъ въ шестомъ классѣ за то, что въ свое сочиненіе онъ втиснулъ разсужденіе Писарева о папѣ Иннокентіи. Странная была гимназія, въ которой учился г. Дебютантъ, но не въ этомъ дѣло. Онъ заявляетъ, что былъ «пріятно пораженъ» (лицемѣріе?), увидавъ въ окнахъ книжныхъ магазиновъ новое изданіе сочиненій Писарева. И что же оказывается? У Писарева нѣтъ *стиля*. «Такъ, какъ пишетъ

---

\*) *Биржевыя Вѣдомости*, 21 августа.



Писаревъ, пишутъ сотни фельетонистовъ, публицистовъ и газетныхъ *передовиковъ*, немножко, пожалуй, не такъ грамотно, бойко и развязно, но всѣ эти качества — и бойкость, и развязность, и грамотность — дала выучка, а не дарованіе». У Писарева — полное отсутствіе художественности, у него нѣтъ «ни одной красиво построенной формулы, ни одного яркаго сочетанія словъ, ни одного новаго, оригинальнаго, изящнаго сопоставленія, ни одного художественнаго сравненія или колоритнаго и глубокаго афоризма» (что это за *колоритный* афоризмъ?). Во всѣхъ статьяхъ Писарева г. Дебютантъ видитъ *плоскую безнадежность*, Писаревъ *уродовалъ дѣтей*, какъ *компрачикосы* въ романѣ Гюю: «Человѣкъ, который смѣется». Теперь, съ появленіемъ новаго изданія сочиненій Писарева, *пришелъ конецъ легенды* \*).

Московскія *Вѣдомости* испытали, конечно, восторгъ отъ статьи г. Дебютанта, но кончаютъ выдержки изъ нея такимъ меланхолическимъ примѣчаніемъ: «Къ сожалѣнію, у насъ и до сихъ поръ остается рядъ не только отдѣльныхъ писателей, но и органовъ, усердно раздувающихъ дѣйствительно ни на чемъ не основанную *легенду* Писарева».

Ну, вотъ и прекрасно: теперь *легенда* Писарева *пришелъ конецъ*. Мы вполнѣ присоединяемся къ мнѣнію г. Дебютанта, что такой путь разрушенія ложныхъ легендъ самый и даже единственно правильный: отымите отъ извѣстнаго мнѣнія, отъ книги или статьи

---

\*) Какъ жаль, что г. Дебютантъ ослабляетъ силу своей аргументаціи вполнѣ правильнымъ замѣчаніемъ, что *литературная критика не его дѣло*.



интересъ запрещеннаго, дайте имъ просторъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, просторъ для критики, для опроверженія, — и ложные кумиры спадутъ съ пьедестала, превратятся въ прахъ.

Въ чемъ же, однако, заключается *легенда*? Что проповѣдывалъ Писаревъ?

Благонравный мальчикъ, воспитавшійся въ родовой дворянской семьѣ, усердный студентъ университета, получившій серебряную медаль за сочиненіе объ Аполлоніи Тианскомъ, Писаревъ имѣлъ сильное вліяніе на молодежь своего времени. Имъ зачитывались, имъ увлекались юноши въ семидесятыхъ даже годахъ, по свидѣтельству г. Дебютанта. Неужели это объясняется исключительно глупостью увлекавшихся? Мнѣ кажется, что г. Дебютантъ компетентенъ только въ объясненіи *своего* увлеченія авторомъ *Схоластики XIX вѣка*.

Писаревъ умеръ двадцати семи лѣтъ — и успѣлъ создать себѣ *легенду*! Онъ, вопреки мнѣнію г. Дебютанта, обладалъ значительнымъ художественнымъ чутьемъ, страстно искалъ правды, нерѣдко ошибался, часто противорѣчилъ себѣ, но какой это даровитый, искренній, смѣлый, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, писатель! Онъ самъ говорилъ, напримѣръ, такія слова: «Нашъ братъ работникъ часто вдается въ крайность и вслѣдствіе этого противорѣчитъ самому себѣ, и, полемизируя противъ вредной идеи, мы противопоставляемъ ей тотъ принципъ, который считаемъ хорошимъ, и часто, увлекаясь благороднымъ жаромъ, проводимъ этотъ принципъ до послѣднихъ, въ дѣйствительности невозможныхъ предѣловъ; мы переса-



ливаемъ, какъ партизаны, какъ люди партіи, и въ эти минуты художникъ, понимающій какъ-то инстинктивно правду и ложь всякаго дѣла, можетъ нарисовать насъ и воспроизвести въ одно время и благородное побужденіе, заставляющее насъ кричать и бѣсноваться, и смѣшныя крайности, до которыхъ доводитъ насъ увлеченіе». Нѣсколько разъ Писаревъ откровенно сознается, что прежде ошибался, и случается, что въ дѣйствительности онъ ошибался, отказываясь отъ прежняго взгляда; но всегда и вездѣ въ его пользу подкупаетъ удивительная честность мысли, страстное увлеченіе ею. Онъ прямо говоритъ, что передъ нѣкоторыми жизненными вопросами становится въ тупикъ \*). Но какая сила одушевленія, какой *идеализмъ* ключемъ бьетъ у этого *реалиста*! Прочтите, напримѣръ, слѣдующее мѣсто въ статьѣ *Старое барство*: «Когда мы смотримъ на сильное и молодое существо, то насъ волнуетъ радостная надежда, что его силы выростутъ, развернутся, приложатся къ дѣлу, примутъ дѣятельное участіе въ великой житейской борьбѣ, увеличатъ хоть немного массу существующаго на землѣ живительнаго счастья и уничтожатъ хоть частицу накопившихся нелѣпостей, безобразій и страданій. Мы еще не знаемъ той границы, на которой остановится развитіе этихъ силъ, и именно эта неизвѣстность составляетъ въ нашихъ глазахъ величайшую обаятельность молодого существа. Кто знаетъ? — думаемъ мы, — можетъ быть, тутъ вырабатывается передъ нами что-то очень большое, чистое, свѣтлое, сильное и неustra-

---

\*) Сочиненія, т. VI, стр. 302.



шимое. Молодое существо, полное жизни и энергии, составляет для нас самую занимательную загадку, и эта загадочность придаетъ ему особенную привлекательность».

Проповѣдь личнаго достоинства, стремленіе будить мысль, горячо звать на честную научную работу и теперь, конечно, составляютъ великую заслугу русскаго писателя, а тридцать лѣтъ тому назадъ это былъ подвигъ, это полное основаніе для созданія *легенды*, которая такъ близко подходитъ къ истинѣ. «Мы сами, — говоритъ Писаревъ, — должны устроить нашу личную жизнь такъ, чтобы трудъ и наслажденіе сдѣлались синонимами. И, кромѣ того, мы всѣми силами должны стараться о томъ, чтобы къ тому же нормальному типу направлялась также и жизнь трудящагося большинства». Писаревъ склоненъ, — какъ послѣдовательный «эгоистъ», — придавать личности даже чрезмѣрное значеніе. «Для самого себя, — пишетъ онъ (*Романъ кисейной дѣвушки*), — каждое живое существо есть центръ и смыслъ всего мірозданія; для самаго ничтожнаго субъекта его собственныя радости, огорченія, усилія и заботы важнѣе и крупнѣе міровыхъ переворотовъ, совершающихся безъ его участія и не имѣющихъ вліянія на судьбу его личности».

Но какъ же согласить при такомъ воззрѣніи интересы личности и общества? Самъ Писаревъ говоритъ, что «сила характера развивается на свободѣ и глхнетъ подъ внѣшнимъ гнетомъ» (*Стоячая вода*). А мы живемъ не въ пустынь, не въ естественномъ состояніи, а въ опредѣленномъ общественномъ строѣ. Здѣсь Писаревъ не отличается послѣдовательностью, не мо-



жетъ выдержать своей теоріи разумнаго эгоизма, бываетъ принужденъ признать значеніе и учрежденій, и идей. Такъ, въ статьѣ *Историческія идеи Огюста Конта* (одна изъ позднѣйшихъ статей Писарева) онъ говоритъ, что для рѣшенія задачи о голодныхъ необходимо соблюденіе двухъ условій: «Во-первыхъ, задачу эту должны рѣшить непременно тѣ люди, которые въ ея разумномъ рѣшеніи находятъ свои личныя выгоды, то-есть ее должны рѣшать сами работники. Во-вторыхъ, рѣшеніе задачи заключается не въ воздѣльваніи личныхъ добродѣтелей, а въ перестройкѣ общественныхъ учрежденій». Если, читаемъ мы далѣе въ той же статьѣ, у англійскихъ рабочихъ имѣется для разрѣшенія рабочаго вопроса болѣе матеріаловъ, чѣмъ въ какой-либо другой европейской странѣ, то «эти матеріалы заключаются именно въ привычкѣ англійскаго народа къ самодѣятельности и къ самой широкой политической и гражданской свободѣ».

Это справедливо, но въ такомъ случаѣ не слѣдуетъ осмѣивать разсужденій о парламентской реформѣ въ Англіи (*Схоласстика XIX вѣка*) и т. п.

«Человѣкъ, — говоритъ Писаревъ, — продуктъ среды и жизни, но жизнь, въ то же время, вкладываетъ въ него активную силу, которая не можетъ быть мертвымъ капиталомъ для существа дѣятельнаго. Жизнь — дѣло въ высшей степени прогрессивное, и главныя двигательныя пружины ея прогресса сосредоточиваются въ мысляхъ и стремленіяхъ лучшихъ, то-есть самыхъ здоровыхъ и нормально организованныхъ представителей нашей породы. Поэтому, склоняясь передъ незыблемыми законами вѣчной природы, современный



мыслитель продолжаетъ сознательно вѣровать въ преобразующія и обновляющія силы человѣческаго ума. Все должно быть такъ, какъ есть въ дѣйствительности. Согласенъ. Но если я недоволенъ тѣмъ, что я вижу вокругъ себя, то и недовольство мое также должно быть и не можетъ не существовать»<sup>\*)</sup>). «Я, — продолжаетъ Писаревъ, — явленіе, и если я чего-нибудь хочу, ищету, домогаюсь, то зачѣмъ же стѣснять его естественныя стремленія?»

Въ приведенныхъ строкахъ выраженъ и бодрый, правильный взглядъ на значеніе личности и мысли, и вредное преувеличеніе эгоизма. Такую амальгаму мы часто встрѣтимъ въ сочиненіяхъ даровитаго публициста и на ней слѣдуетъ нѣсколько остановиться.

Трудно понять, напримѣръ, почему «мысли не могутъ быть ни гадкими, ни подлыми, пока они остаются въ головѣ мыслящаго субъекта, который пользуется ими, какъ сырымъ матеріаломъ» (*Промехи незрѣлой мысли*). Наши мысли есть уже *дѣйствіе* въ зародышѣ, и когда онѣ перейдутъ въ *поступки*, то подлыми и гадкими могутъ быть тогда не только мысли, но и эти поступки. Отрицая нравственные нормы и идеалы, все сводя къ утилитаризму здороваго, правильно мыслящаго *реалиста*, Писаревъ не можетъ избѣгнуть противорѣчій и путаницы, при всей ясности своего ума, при всемъ безстрашіи своей логики: узость отъ правнаго принципа даетъ себя чувствовать. Въ статьѣ *Историческія идеи Огюста Конта* Писаревъ замѣчаетъ, что въ «современной политикѣ принципъ выгоды ни-

---

<sup>\*)</sup> Сочиненія, т. IV, стр. 252.



когда не совпадаетъ съ принципомъ справедливости; частная жизнь въ малыхъ размѣрахъ представляетъ собой картину точно такого же разлада». Но если это такъ, если *справедливость*—принципъ, то задачей мысли и практической дѣятельности является проведение ея въ жизнь. Правда, Писаревъ прибавляетъ: «Если *каждый* будетъ постоянно стремиться къ своей собственной выгодѣ и если *каждый* будетъ *правильно* понимать свою собственную выгоду, то, конечно, никто не будетъ снимать рубашку съ самого себя, но за то это добродѣтельное сниманіе окажется излишнимъ, потому что каждый будетъ отстаивать твердо и искусно собственную рубашку, и вслѣдствіе этого каждая рубашка будетъ украшать и согрѣвать именно то тѣло, которое ее выработало. Такимъ образомъ, если принципъ личной выгоды будетъ съ неуклонною послѣдовательностью проведенъ во всѣ отправления общественной жизни, то каждый будетъ пользоваться всѣмъ тѣмъ, и только тѣмъ, что принадлежитъ ему по самой строгой справедливости». Опять справедливость, и даже *самая строгая*! Это она регулируетъ эгоизмы, распредѣляетъ всѣмъ и каждому, что ему должно. Но тогда именно справедливость, а не польза становится основнымъ началомъ общественной нравственности, общественныхъ порядковъ. И для достиженія такихъ результатовъ человѣкъ долженъ *правильно* мыслить, то-есть устанавливать для своего образа дѣйствій такія *правила*, которыя могутъ и должны быть приняты каждымъ правильно мыслящимъ человѣкомъ.

Біографъ Писарева говоритъ, что онъ былъ весь затаенная страсть, скрытая вольница, и это мнѣніе ка-



жется мнѣ вѣрнымъ. Могъ ли такой человѣкъ въ дѣйствительности смѣяться надъ самоотверженіемъ, надъ этимъ нарушеніемъ эгоистической выгоды? Конечно, нѣтъ. Характеризуя Базарова въ *Реалистахъ*, Писаревъ пишетъ, между прочимъ, слѣдующее: «Евгеній Базаровъ, разумѣется, можетъ отшатнуться отъ своихъ родителей, и его жизнь, все-таки, будетъ полна, потому что ее наполняетъ умственный трудъ. Но ихъ жизнь? И какой же настоящій Базаровъ, какой мыслящій человѣкъ рѣшится оттолкнуть отъ себя своихъ стариковъ, которые только имъ живутъ и дышатъ и которые сдѣлали все, что могли, для его образованія?» Приходится, стало быть, Евгенію Базарову снимать съ себя рубашку.

Трезвый утилитаризмъ Писарева не мѣшаетъ ему признавать значеніе *мечты*, идеала. Эта мечта, обгоняя естественный ходъ событій, можетъ, по его мнѣнію, «даже поддерживать и усиливать энергію трудящагося человѣка». Писаревъ возстаетъ лишь противъ маниловской и наркотической мечты, которая только обезсиливаетъ человѣка или сбиваетъ его съ толку, и въ этомъ отношеніи нельзя, конечно, съ нимъ не согласиться. Презрѣнію Писарева къ празднолюбцамъ нѣтъ границъ. Отъ нашихъ сверстниковъ, — пишетъ онъ, — «мы имѣемъ полное право настоятельно требовать непреклонной энергіи, желѣзнаго терпѣнія и неутомимаго трудолюбія» (напомню, что эти строки написаны были въ Петропавловской крѣпости). Возставая противъ добродѣтельныхъ фразъ о сочувствіи отечественному прогрессу, Дмитрій Ивановичъ Писаревъ говоритъ, что людямъ его направленія отъ моло-



дыхъ людей «нужна полезная работа и нѣтъ никакого дѣла до пламенныхъ сочувствій. Сочувствіе же мы съ полною признательностью принимаемъ только отъ тѣхъ людей, которые уже не въ силахъ быть дѣятельными работниками».

Честныя, мужественныя слова! Но что же, однако, надо дѣлать, какъ работать?

Прежде всего, необходимо пріобрѣтать серьезныя научныя знанія. Какія? Въ *Реалистахъ* Писаревъ даетъ на это слѣдующій отвѣтъ: «Молодые люди, подобные Берсеневу, входятъ въ храмъ науки и, прежде всего, попадаютъ въ преддверіе, изъ котораго расходятся въ двѣ противоположныя стороны—въ два корридора. Пойдешь налѣво—тебѣ покажутъ тысячи палисандровыхъ дощечекъ и атласныхъ лоскутковъ, которые тебѣ придется жевать для утоленія умственного голода. А пойдешь направо—тебя накормятъ, одѣнутъ, обуютъ, обмоютъ и покажутъ, кромѣ того, какъ кормить, одѣвать, обувать и обмывать другихъ людей. Въ лѣвомъ, атласно-палисандровомъ, отдѣленіи храма наукъ господствуютъ: исторіографія Маколея и его безчисленныхъ, даровитыхъ и бездарныхъ, послѣдователей, политическая экономія не менѣе безчисленныхъ учениковъ Мальтуса и Рикардо и, сверхъ того, пестрѣйшая толпа различныхъ *правъ*: римское, гражданское, государственное, уголовное и множество другихъ. И всѣ атласно-палисандровыя подобія наукъ тщательно приведены, посредствомъ усѣченій и пришиваній, въ строгую гармонію какъ между собою, такъ въ особенности и съ общими современными требованіями. Въ правомъ отдѣленіи, напротивъ того, помѣщается изученіе природы».



Въ эпохи застоя, — говоритъ Писаревъ, — историческимъ наукамъ и политической экономіи предаются люди двухъ сортовъ: «одни пишутъ казенные учебники, другіе честно и добросовѣстно убѣждены въ томъ, что людямъ слѣдуетъ вѣчно спать, но спать облагороженнымъ сномъ, то-есть видѣть во снѣ великія идеи. Они восхищаютъ своихъ слушателей одушевленными бесѣдами, отъ которыхъ, однако, никогда, ни при какихъ условіяхъ, ничего, кромѣ испаряющагося восхищенія, не можетъ произойти».

Чтобъ его мысль не допускала никакихъ неправильныхъ толкованій, Писаревъ иллюстрируетъ ее примѣромъ: къ числу честныхъ и умныхъ историковъ, имъ охарактеризованныхъ, онъ относитъ Грановскаго и Кудрявцева... Это они были убѣждены въ томъ, что людямъ надо вѣчно спать, это отъ ихъ вдохновеннаго преподаванія ничего не осталось!

Въ статьѣ *Посмотримъ* Писаревъ, однако, совѣтуетъ читать комментаріи Чернышевскаго къ политической экономіи Милля, — политическая экономія, слѣдовательно, понадобилась. Понадобилась, конечно, и исторія, такъ какъ самъ Писаревъ написалъ много популярныхъ историческихъ статей. «Исторія до сихъ поръ, по его мнѣнію, — не что иное, какъ огромный арсеналь, изъ котораго каждая литературная партія выбираетъ себѣ годные аргументы для пораженія своихъ противниковъ». Писаревъ сомнѣвается въ томъ, чтобы исторія превратилась когда-либо въ настоящую науку.

Увлеченіе Писарева естественными науками доходило, какъ извѣстно, до того, что онъ серьезно со-



вѣтовалъ Щедрина бросить сатиру и писать популярныя книжки по естествознанію. Правда, это было сказано потому, что Писаревъ находилъ тогда смѣхъ Щедрина *безпредметнымъ и безцѣльнымъ*. Тѣмъ не менѣе, увлеченіе его естественными науками нельзя не признать чрезмѣрнымъ, хотя и весьма симпатичнымъ: столько силы и искренности въ статьяхъ Писарева (о великомъ значеніи естествознанія нечего и говорить). «Можетъ быть, — говорилъ самъ Писаревъ, — мое благоговѣніе передъ естествознаніемъ покажется читателю преувеличеннымъ; можетъ быть, онъ возразитъ мнѣ, что и естествознаніе будетъ приносить пользу и удовольствіе только тѣмъ классамъ нашего общества, которымъ и безъ того не слишкомъ дурно живется на свѣтѣ». Писаревъ рѣшительно возстаетъ противъ этого мнѣнія. Онъ думаетъ, что для самаго народа «акклиматизація естествознанія въ нашемъ обществѣ» неизмѣримо полезнѣе, чѣмъ изданіе книгъ для народнаго чтенія, и вотъ на какомъ идеалистическомъ основаніи: «Если естествознаніе обогатитъ наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякаго рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди, вмѣстѣ съ тѣмъ, выучатся понимать какъ свою собственную пользу, такъ и потребности того міра, который ихъ окружаетъ. Тогда они поймутъ, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собой, — поймутъ, что выгоднѣе и пріятнѣе увеличивать общее богатство страны, чѣмъ выманивать или выдавливать послѣдніе гроши изъ худыхъ кармановъ производителей и потребителей». (*Цвѣты невиннаго юмора*).



Конечно, ни Чернышевскій, ни Добролюбовъ не могли бы признать практичнымъ такой способъ разрѣшенія соціальныхъ вопросовъ.

Горячее сочувствіе Писарева трудовой массѣ, пролетаріату, высказывается часто во многихъ его статьяхъ. Всѣ передовые мыслители, — говоритъ онъ, — признаютъ существующій экономическій порядокъ неудовлетворительнымъ, но рѣшить общественную задачу чрезвычайно трудно. «До сихъ поръ никто еще не можетъ утверждать навѣрное, что *теоретическое* рѣшеніе задачи дѣйствительно найдено». Когда это произойдетъ, понадобится еще въ теченіе многихъ лѣтъ, можетъ быть, даже десятковъ лѣтъ, «долбить общественное мнѣніе и тревожить общественную совѣсть до тѣхъ поръ, пока образованные классы, держащіе въ своихъ рукахъ общественный и умственный капиталъ націи, не будутъ перевоспитаны новыми идеями и не посвятятъ всѣ свои силы на то, чтобъ осуществить теоретическое рѣшеніе въ дѣйствительной жизни» (*Посмотримъ*) \*). Для публициста, имѣющаго въ виду интересы большинства (а таковъ самъ Писаревъ), возможенъ только одинъ вопросъ, поглощающій всѣ остальные: какъ накормить голодныхъ людей, какъ обезпечить всѣхъ вообще?

Само собою разумѣется, что Писаревъ не признаетъ возможнымъ довольствоваться въ этомъ отношеніи однимъ естествознаніемъ, его акклиматизаціей въ нашемъ обществѣ, и требуетъ «изображать яркими

---

\*) Напомню, что въ другой статьѣ Писаревъ признавалъ возможнымъ и желательнымъ рѣшеніе рабочаго вопроса самими рабочими.



красками страданія голоднаго большинства, вдумываться въ причины этихъ страданій, постоянно обращать вниманіе общества на экономическіе и общественные вопросы и систематически отрицать и осмѣивать все, что отвлекаетъ умственные силы образованныхъ людей отъ главной задачи». Второе направленіе мысли, — отрицательное, — Писаревъ въ другой статьѣ (*Московскіе мыслители*) признаетъ патологическимъ явленіемъ: «доказывать его нормальность и законность *quand tete* значило бы доказывать, вмѣстѣ съ тѣмъ, нормальность и законность тѣхъ условій жизни, которыя вызываютъ противъ себя сдержанную оппозицію и глухой протестъ».

На основаніи приведенныхъ выдержекъ читатель придетъ къ заключенію, что Писаревъ — демократъ, но не народникъ. Въ началѣ статьи *Мотивы русской драмы* мы находимъ категорическое въ этомъ отношеніи заявленіе: «Глядя на эти постоянныя колѣнопреклоненія передъ народною мудростью и передъ народною правдой, — говоритъ здѣсь Писаревъ, — замѣчая, что доверчивые читатели принимаютъ за чистую монету ходячія фразы, лишенныя всякаго содержанія, и зная, что народная мудрость и народная правда выразились всего полнѣе въ сооруженіи нашего семейнаго быта, — добросовѣстная критика поставлена въ печальную необходимость повторять по нѣскольку разъ тѣ положенія, которыя давно уже были высказаны и доказаны». Никакихъ національных особенностей у русскаго народа Писаревъ не признаетъ, т.-е. такихъ особенностей, которыя увеличиваютъ содержаніе міровой цивилизаціи, а не являются результатомъ не-



вѣжества и другихъ неблагопріятныхъ условій. «Русская жизнь, — говоритъ онъ, — въ самыхъ глубокихъ своихъ нѣдрахъ не заключаетъ рѣшительно никакихъ задатковъ самостоятельнаго обновленія; въ ней лежатъ только сырые матеріалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны вліяніемъ общечеловѣческихъ идей».

Такая космополитическая точка зрѣнія не мѣшала, однако, Писареву любить сильно русскій народъ, хотя и отвлеченною нѣсколько любовью. Этотъ народъ представляется ему страдающею массой, громадою тружениковъ, а не живою совокупностью живыхъ людей, съ многообразными областными особенностями; но эту массу, ея интересы Писаревъ ставитъ во главу угла, отодвигая для нея свое руководящее начало, свой индивидуальный утилитаризмъ. Здѣсь лежитъ и ключъ къ пониманію его страстныхъ нападеній на эстетику. «Когда въ обществѣ, — пишетъ разрушитель эстетики, — есть не только голодные люди, но даже голодные классы, то обществу рано, нелѣпо, отвратительно, неприлично и вредно заботиться объ удовлетвореніи другихъ потребностей второстепенной важности, развившихся у крошечнаго меньшинства сытыхъ и разжирѣвшихъ людей» \*). Поэтому отъ искусства Писаревъ требовалъ содержанія, правдиваго изображенія важныхъ явленій, служенія народному благу. Край-

---

\*) Въ другомъ мѣстѣ (Базаровъ) Писаревъ говоритъ, что сказать человѣку: не наслаждайся природой—все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Наслажденіе рѣшительно необходимо. Этимъ Писаревъ открываетъ, конечно, эстетикѣ если не дверь, то окно. Нужно замѣтить, что самъ онъ увлекался красотами



ности, до которыхъ иногда доходилъ въ этомъ отношеніи Писаревъ, настолько извѣстны, что говорить о нихъ нѣтъ надобности. Отмѣчу лишь мимоходомъ его особенное презрѣніе къ музыкѣ, которую онъ совсѣмъ не понималъ (впрочемъ, онъ доказывалъ *неизлѣчимую бесполезность* также живописи и скульптуры). Для Писарева сказать: *великій Бетховенъ* — все равно, что сказать: *великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря*. Отъ такого сопоставленія теперь можно лишь улыбнуться.

Несравненно интереснѣе и важнѣе взгляды Писарева на воспитаніе. Многое въ нихъ является требованіемъ разумной педагогіи, подкрѣпляется всѣми успѣхами историческаго знанія и психологіи; многое принадлежитъ къ области спорнаго, встрѣчаются, конечно, — у кого ихъ нѣтъ! — ошибки и заблужденія. Но въ общемъ педагогическія статьи Писарева прочтутся и въ наше время съ большою пользою многочисленными читателями.

«Есть въ человѣчествѣ, — говоритъ Д. И. Писаревъ, — только одно зло (увы, еслибъ только *одно!*) — невѣжество; противъ этого зла есть только одно лѣкарство — наука; но это лѣкарство надо принимать не го-меопатическими дозами, а ведрами и сороковыми бочками. Слабый пріемъ этого лѣкарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведетъ за собою радикальное исцѣленіе. Но трусость чело-

---

художественныхъ произведеній. Въ одной изъ его раннихъ статей мы читаемъ, что «необходимость эстетическаго образованія сознается всѣми современными педагогами, правильно смотрящими на конечную цѣль воспитанія» (Сочиненія, т. 1, стр. 137).



вѣческая такъ велика, что спасительное лѣкарство считается ядовитымъ».

Если хотите образовать народъ,—продолжаетъ Писаревъ,—возвышайте уровень образованія въ цивилизованномъ обществѣ. По его мнѣнію, недалъновидны тѣ люди, которые посвящали свои силы преподаванію въ народныхъ школахъ: если будетъ побудительная причина, то народъ выучится самъ, помимо школъ, урывками... (*Реалисты*). Опровергать это странное мнѣніе нѣтъ, я думаю, надобности.

Зато многія педагогическія требованія Писарева заслуживаютъ полнѣйшаго сочувствія и до сихъ поръ являются у насъ *благодѣтельными желаніями*. Онъ требуетъ, напримѣръ, устраненія *скудной работы*, которую наши глубокомысленные педагоги упорно смѣшиваютъ съ *серьезною работой*. «Скука,—говоритъ Писаревъ,—порождаемая безучастностью ученика къ труду, во всякомъ случаѣ, дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на его умственныя способности, а принужденіе, въ какой бы утонченной и облагороженной формѣ оно ни выражалось, во всякомъ случаѣ, развращаетъ ученика въ нравственномъ отношеніи». Последнее утвержденіе заключаетъ въ себѣ крайность, понятную для читателя, и на ней останавливаться я не буду. Отъ современной ему школы Писаревъ, не надѣясь на возможность ея разумной постановки, желалъ одного: неприкосновенности здоровья ученика. Само собою разумѣется, что онъ—врагъ классической системы образованія, его школа построена на математикѣ, естествознаніи, родномъ и новыхъ языкахъ (исторію и географію онъ изгоняетъ изъ среднеучебнаго заве-



денія). Школа должна, по мнѣнію Писарева, давать воспитанникамъ такія знанія, которыя она можетъ сообщить имъ *въ полномъ объемѣ*, которыя развиваютъ и укрѣпляютъ умы воспитанниковъ и которыя, притомъ, воспитанникамъ было бы трудно пріобрѣсти собственными усиліями \*).

Для женщины Писаревъ требовалъ такого же образованія, какъ и для мужчины. Едва ли кто изъ русскихъ писателей, такъ настойчиво, умно и страстно защищалъ равноправность женщины. Въ исторіи литературно-общественной борьбы за эту равноправность Писареву принадлежитъ одна изъ почетнѣйшихъ страницъ.

---

Я указалъ далеко не на всѣ достоинства и недостатки Писарева, и читатель можетъ убѣдиться, что *легенда* о Писаревѣ дѣйствительно пришелъ конецъ, но его извѣстности, его вліянію, его литературному значенію конца не наступило. Если у этого талантливаго писателя много противорѣчій, не мало одностороннихъ или прямо ошибочныхъ взглядовъ, то не мало и вѣрныхъ идей, имѣющихъ весь интересъ современности и въ наши дни. Оригинальностью идей Писаревъ не поражаетъ, онъ по преимуществу великолѣпный популяризаторъ, ѣдкій и остроумный критикъ, который вѣчно кипѣлъ мыслью и будилъ мысль у читателей. Настаивая на эгоизмѣ, отбрасывая долгъ, идеаль, Писаревъ всю свою жизнь отдалъ честному

---

\*) Интересующимся подробностями укажу въ особенности на статью „Школа и жизнь“ (въ четвертомъ томѣ), гдѣ Писаревъ развиваетъ свою программу средней школы.



служенію русскому обществу, былъ беззавѣтно преданъ *идеѣ*. Иногда этотъ безпощадный утилитаристъ проговаривается, обнаруживая свои скрытыя стремленія и чувства. Такъ, въ статьѣ о Гейнѣ онъ принимаетъ сторону Бернье и говоритъ, что этому писателю нельзя отказать въ глубокомъ уваженіи, потому что онъ «до конца жизни боролся и страдалъ за великую и святую идею». Среди нашихъ журналистовъ мало найдется равныхъ Писареву по таланту, искренности и энергіи, а выше его можно поставить лишь нѣсколько человѣкъ за все время существованія нашей журналистики. Наше общество, — писалъ онъ, — до сихъ поръ создало своими собственными средствами только одну журналистику, которая возникла, развивалась и держится независимо отъ всякихъ постороннихъ вліяній. И въ числѣ людей, придавшихъ нашей повременной печати жизненную силу, одно изъ первыхъ мѣстъ принадлежитъ Дмитрію Ивановичу Писареву. Это по совѣсти должны сказать не только люди, расходящіеся съ нимъ по нѣкоторымъ важнымъ вопросамъ, но и всѣ добросовѣстные враги міропониманія и тѣхъ общественныхъ идей, которыя защищалъ покойный критикъ.

Нѣкоторымъ сужденіямъ Писарева, въ особенности эстетическимъ, теперь нельзя не подивиться. Такъ, первостепеннымъ беллетристомъ онъ называетъ, на ряду съ Тургеневымъ и Островскимъ, и Чернышевскаго, а Добролюбова часто старался уколоть за *эстетику*. Въ этомъ отношеніи любопытно слѣдующее замѣчаніе Писарева.

Однажды Добролюбовъ, защищая характеръ Кате-



рины, сказалъ, что его могутъ извратить и опошлить въ своемъ пониманіи только грязные люди, только тѣ, кто на Венеру Милосскую смотрятъ съ низкими чувственными помышленіями. «Я совершенно согласенъ съ Добролюбовымъ, — говоритъ Писаревъ, — что скалить зубы передъ мраморною статуей — занятіе очень глупое, безплодное и неблагодарное; но, наперекоръ всѣмъ художникамъ и эстетикамъ въ мірѣ, я осмѣлюсь утверждать, что всѣ экстазы самыхъ просвѣщенныхъ и рафинированныхъ поклонниковъ древней скульптуры, въ сущности, ничѣмъ не отличается отъ пріапическихъ улыбокъ и чувственныхъ поползновеній». Лучшимъ опроверженіемъ этого мнѣнія можетъ служить прелестный разсказъ Г. И. Успенскаго *Выпрямила* \*). Но на ряду съ этимъ у Писарева многіе разборы художественныхъ произведеній поражаютъ силою и правильностію психологическаго анализа. Таковъ, на примѣръ, разборъ характера Базарова и вообще *Отцовъ и дѣтей*, критическія статьи о сочиненіяхъ Писемскаго, Л. Н. Толстого и друг.

Полную оцѣнку дѣятельности Писарева дать еще невозможно (нѣкоторыя изъ его статей не напечатаны въ новомъ собраніи его сочиненій). Эта оцѣнка, разумѣется, должна была бы явиться и анализомъ движенія въ русскомъ обществѣ въ началѣ царствованія Александра II. Чтобы понять это движеніе, необходимо познакомиться со всѣми условіями времени, не только съ *Русскимъ Словомъ* и *Современникомъ*, но и съ другими тогдашними журналами, гдѣ были люди

---

\*) Въ другой области укажу на странную защиту Писаревымъ Пуше противъ Цастера (*Подвиги европейскихъ авторитетовъ*).



или не вполне сочувствовавшие *свистопляскъ* (известное выражение Погодина), или ее открытые враги. Многія крайности и нелѣпицы, которыя смѣло высказывалъ Писаревъ, объясняются крайностями и нелѣпостями, съ какими выступали противники двухъ названныхъ журналовъ и отчасти *Русскаго Вѣстника* первыхъ годовъ его существованія. Молодого, страстно увлеченнаго новыми идеями писателя упорная защита отжившаго строя понятій возбуждала къ все болѣе и болѣе яркой и рѣшительной постановкѣ вопросовъ, хотя дѣятельность Писарева и была направлена почти исключительно на развитіе личности, а не на борьбу съ учрежденіями. Естественно, что это было источникомъ новыхъ противорѣчій. Для Писарева «всѣ политическія учрежденія могутъ имѣть только временное и мѣстное значеніе». При такомъ взглядѣ бороться изъ-за ихъ измѣненія, пожалуй, и не стоитъ. Въ другой статьѣ Писаревъ признаетъ однако *филіацию идей и учреждений*, «которыя накладывали на экономическій бытъ народа печать своего полезнаго или вреднаго вліянія».

Это было написано въ 1865 году, а въ 1861 году, въ статьѣ *Народныя книжки*, Писаревъ говорилъ слѣдующее: «Дѣло нашей народности не стоитъ на одномъ мѣстѣ, но его двигаютъ не грошовыя изданія. Его несутъ на плечахъ наши публицисты, наши ученые и художники. Знакома наше общество съ государственными идеями и учрежденіями Европы, изучая прошедшее нашего народа въ его словесности, въ его государственной, юридической и семейной жизни, выясняя мало-по-малу, черту за чертою, характери-



ческія особенности народнаго типа, публицисты, ученые и художники постепенно вырабатываютъ и проводятъ въ общественное сознаніе тотъ идеалъ, къ которому стремится наше современное общество». А черезъ три года Писаревъ называлъ тѣ факультеты, на которыхъ разрабатываются, — худо или хорошо, но главнымъ образомъ разрабатываются эти науки здѣсь, — атласно-палисандровымъ отдѣленіемъ храма наукъ.

Но проповѣдь честнаго, общепользнаго труда, какъ я уже замѣтилъ, одна эта неустанная проповѣдь съ избыткомъ покрываетъ всѣ недостатки литературной дѣятельности Писарева. Одно время, очень короткое, онъ сдѣлался было отъявленнымъ эпикурейцемъ, въ обыденномъ смыслѣ этого слова; но въ общемъ нельзя не удивляться его энергической работѣ, свѣжести и бодрости его пытливой мысли. Поэтому совсѣмъ неправъ его противникъ, г. Страховъ, утверждая, что для Писарева жизнь есть только привлекательная пестрота живыхъ и беззавѣтныхъ наслажденій \*). Самъ Писаревъ формулировалъ свои убѣжденія, какъ реалиста, такими прекрасными словами: «Всѣ стремленія нашихъ реалистовъ, всѣ ихъ радости и надежды, весь смыслъ и все содержаніе ихъ жизни пока исчерпываются тремя словами: *любовь, знаніе и трудъ*».

Писаревъ былъ индивидуалистомъ, — по крайней мѣрѣ, эту сторону своихъ воззрѣній онъ самъ выдвигалъ на первый планъ, — но я приводилъ уже выдержки изъ статей, въ которыхъ онъ выражаетъ

\*) Г. Страховъ: «Изъ исторіи литературнаго нигилизма», стр. 34.



страстное сочувствіе народу, первымъ вопросомъ времени ставить удовлетвореніе насущнымъ нуждамъ этого народа. Конечно, ошибочно думать, что лучший способъ для достиженія указанной цѣли—акклиматизація естествознанія въ русскомъ обществѣ, но въ увлеченіи Писарева естественными науками много и привлекательнаго, и полезнаго.

Не слѣдуетъ упускать изъ виду, въ то же время, что Писаревъ часто напоминалъ о значеніи для правильнаго развитія личности внѣшнихъ условій и общественныхъ формъ. «Развитіе недѣлимаго, — писалъ онъ въ *Схоластикъ XIX вѣка*, — можно сдѣлать независимымъ отъ внѣшнихъ стѣсненій только на высокой степени общественнаго развитія; эмансипація личности и уваженіе къ ея самостоятельности является послѣднимъ продуктомъ позднѣйшей цивилизаціи». Снимая въ извѣстныхъ случаяхъ отвѣтственность за вялость и безпринципность съ отдѣльнаго лица, мы тѣмъ строже, — говоритъ Писаревъ, — должны относиться къ той идеѣ, которая лежитъ въ основѣ этого общества (*Стоячая вода*). Наше общество и теперь страдаетъ тѣми болѣзнями, на которыя указывалъ Писаревъ: безличностью, безгласностью, умственной лѣнью. Но если многое и многое зависитъ отъ общественныхъ условій, если дѣйствительно «сила характера развивается на свободѣ и глохнетъ подъ внѣшнимъ гнетомъ», какъ говоритъ Писаревъ, то не долженъ уклоняться отъ своей доли отвѣтственности и отдѣльный человѣкъ.



## О письмахъ В. Г. Бѣлинскаго къ Бакунинымъ.

---

Какъ извѣстно, переписка играла очень важную роль въ жизни людей сороковыхъ годовъ. Когда судьба разлучала членовъ знаменитыхъ московскихъ литературно-ученыхъ кружковъ, они обмѣнивались мыслями и чувствами въ письмахъ. Эти нерѣдко чрезвычайно длинныя письма представляютъ богатый матеріалъ для характеристики какъ замѣчательнѣйшихъ представителей нашего просвѣщенія и нашей общественной мысли въ сороковыхъ годахъ, такъ и тогдашняго состоянія Россіи вообще. Нерѣдко письма пересылались не по почтѣ, а съ вѣрнымъ человѣкомъ, съ оказіей,—и въ подобныхъ посланіяхъ друзья высказываются, конечно, съ особенною искренностью, придающею перепискѣ незамѣнимыя достоинства.

Перепискою В. Г. Бѣлинскаго широко воспользовался А. Н. Пыпинъ въ своемъ извѣстномъ трудѣ: *«Бѣлинскій, его жизнь и переписка»*. Были въ рукахъ у г. Пыпина и письма знаменитаго критика къ М. А. Бакунину. Много весьма интересныхъ извлеченій приведено изъ нихъ въ названномъ сочиненіи. Но въ виду того, что Бакунинъ имѣлъ крупное значеніе



въ жизни Бѣлинскаго, не лишены интереса и тѣ небольшія добавленія, которыя мы извлечемъ изъ тѣхъ же писемъ, любезно предоставленныхъ намъ для этой цѣли П. А. Бакунинымъ.

Въ припискѣ къ письму отъ 6 апрѣля 1841 года, изъ Петербурга къ Николаю Александровичу Бакунину, Бѣлинскій говоритъ: «Вся жизнь моя въ письмахъ». И дѣйствительно, въ нихъ геніальный писатель отражается весь. Многія изъ нихъ принимали необыкновенные размѣры. Такъ, письмо къ Михаилу Александровичу Бакунину, отъ 12 октября 1838 года, съ эпиграфомъ: «Еще одно послѣднее сказанье, и лѣтопись окончена моя», — составляетъ цѣлую тетрадь, пятнадцать листовъ почтовой бумаги и еще маленький клочокъ. Я изложу, въ хронологическомъ порядкѣ, содержаніе этой переписки, приводя преимущественно тѣ извлеченія, которыхъ нѣтъ у г. Пыпина.

Бѣлинскій познакомился съ М. А. Бакунинымъ черезъ Станкевича, въ 1835 году, и съ этого же года между ними началась переписка. Г. Пыпинъ говоритъ: «Бѣлинскій познакомился съ М. Б., кажется, только въ 1836 году». Но въ собраніи писемъ, бывшихъ у насъ, одно помѣчено (изъ Москвы) 15 октября 1835 г. Бѣлинскій пишетъ въ этомъ письмѣ: «Я, Василій Петровичъ, Ланіеръ и всѣ прочіе, т.-е. Аксаковъ, Ключниковъ, Катковъ, — безпрестанно спрашиваютъ другъ друга: что Мишель, что съ нимъ, отчего онъ не пишетъ, здоровъ ли онъ, не содѣлалось (ли) съ нимъ какого несчастія?»

Слѣдующее письмо, бывшее у насъ въ рукахъ, прислано Бѣлинскимъ изъ Пятигорска и помѣчено 28 іюня 1837 года. «Смотрю на ясное небо, — пишетъ Бѣ-



линскій,—на фантастическія облака, на дикую и величественную природу Кавказа и радуюсь, самъ не знаю чему. Даже у себя въ комнатѣ, чуть только лучъ солнца заиграетъ на стеклѣ окна, улыбаюсь и радостно потираю руками». Но и въ такой природѣ и на короткое время Бѣлинскій не могъ жить безъ литературныхъ интересовъ. «Хромоногий бѣсъ Лесажа,—говоритъ онъ въ этомъ же письмѣ,—такая мерзость, что насилу заставилъ я себя дочесть его, и то ex officio, а между тѣмъ эта книжонка пользуется европейскимъ авторитетомъ. Доберусь я до нея когда-нибудь». Бѣлинскій шутливо добавляетъ: «Миша, нѣтъ ли какихъ-нибудь новостей, нѣтъ ли литературныхъ сплетней? Пожалуйста, сообщи ихъ. Душа умираетъ безъ нихъ».

М. А. Бакунинъ прислалъ въ Пятигорскъ письмо, въ которомъ говорилъ объ общемъ «паденіи» членовъ кружка. Бѣлинскій отвѣчаетъ (16 августа 1837 г.), что онъ согласенъ съ этимъ, но что онъ всталъ, чтобъ никогда не падать болѣе. «Тебѣ извѣстны мои понятія о людяхъ, — продолжаетъ Бѣлинскій, — ты знаешь, что я раздѣляю ихъ на два класса—на людей съ зародышемъ любви и на людей, лишенныхъ этого зародыша. Послѣдніе для меня—скоты, и я почитаю слабостію всякое снисхожденіе къ нимъ. Но когда я вижу человѣка съ зародышемъ чувства, то какъ бы глубоко ни палъ онъ, но если, въ самомъ паденіи, онъ сохранилъ инстинктъ истины и сознаніе своего паденія,—онъ братъ мой, и я не могу презирать его \*).

---

\*) Приведено у г. Пыпина (т. 1, 184).



Дальше Бѣлинскій выражается еще энергичнѣе: «Я презираю и ненавижу добродѣтель безъ любви; я скорѣе рѣшусь стремглавъ броситься въ бездну порока и разврата, съ ножомъ въ рукахъ на большихъ дорогахъ добывать свой насущный кусокъ хлѣба, нежели, затоптавъ свое чувство и разумъ ногами въ грязь, быть добрымъ квакеромъ, пошлымъ резонеромъ, пуританиномъ, раскольникомъ, добрымъ по расчету, честнымъ по эгоизму, не воровать у другихъ, чтобы другимъ не дать права воровать у себя, не рѣзать ближняго, чтобы ближній не зарѣзалъ меня... Нѣтъ, лучше быть падшимъ ангеломъ, т.-е. дьяволомъ, нежели невинною, безгрѣшною, но холодною и слизистою лягушкой!» \*).

А. Н. Пыпинъ приводитъ изъ этого письма значительныя выдержки. Бѣлинскій съ восторгомъ вспоминаетъ о своемъ пребываніи у Бакуниныхъ (въ Прямухинѣ, Новоторжскаго уѣзда, Тверской губерніи). Въ Прямухинѣ Виссаріонъ Григорьевичъ влюбился въ одну изъ сестеръ Михаила Александровича, Александру Александровну (она была впослѣдствіи замужемъ за Вульфомъ и скончалась десять лѣтъ тому назадъ), но не встрѣтилъ взаимности. Эта несчастливая любовь многое объясняетъ въ тогдашнемъ настроеніи Бѣлинскаго.

На Кавказѣ онъ (то же письмо) «составилъ планъ хорошаго сочиненія, гдѣ въ формѣ писемъ или переписки друзей, — писалъ В. Г. Бѣлинскій, — хочу изложить всѣ истины, какъ постигъ я ихъ, о цѣли чело-

---

\*) Приведено у г. Пыпина (1, 186).



вѣческаго бытія или счастіи. Я дамъ этимъ истинамъ практическій характеръ, доступный всякому, у кого есть въ груди простое и живое чувство бытія; обѣ мои статьи, написанныя въ Прямухинѣ, войдутъ сюда передѣланныя въ своей формѣ, очищенные отъ многословія и противорѣчій. Здѣсь я разовью, какъ можно подробнѣе и картиннѣе, идею творчества, которая у насъ такъ мало понята; словомъ, здѣсь я надѣюсь выразить всю основу нашей внутренней жизни». Этотъ грандіозный замыселъ остался, какъ извѣстно, безъ выполненія \*).

15 сентября Бѣлинскій вернулся въ Москву и пишетъ 21 сентября М. А. Бакунину, что Кавказъ ему надоѣлъ, дорога—адъ. «Начинаю, говоритъ Виссаріонъ Григорьевичъ, сходиться съ Катковымъ и цѣнить его—чудесный малый!»! «Меня радуетъ,—прибавляетъ онъ,—усиленіе моей способности любить людей». Въ письмѣ отъ 1 ноября 1837 года о Катковѣ мы находимъ у Бѣлинскаго такой отзывъ: «Славный малый, онъ далеко пойдетъ, потому что уже теперь у него убѣжденія въ мирѣ съ жизнью. Голова свѣтлая, сердце чистое—вотъ Катковъ».

Нужно прибавить, что въ это время Бѣлинскій былъ въ такъ называемомъ примирительномъ направленіи, въ довольствѣ тогдашнею россійскою дѣйствительностью \*\*).

1 августа 1838 года Бѣлинскій написалъ письмо къ

\*) 1 ноября 1837 года Бѣлинскій писалъ М. А. Бакунину, что началъ переписку двухъ друзей. См. Пыпинъ, I, 191.

\*\*) Г. Пыпинъ указываетъ, что въ это время матеріальныя обстоятельства самого Бѣлинскаго были поистинѣ ужасны.



старику Бакунину, Александру Михайловичу, съ которымъ у знаменитаго критика были нѣкоторыя столкновенія въ Прямухинѣ. Письмо написано очень тепло и съ большимъ достоинствомъ. Бѣлинскій раскаивается въ своихъ выходкахъ и съ любовью вспоминаетъ жизнь въ Прямухинѣ, деревенскій садъ и прогулки. Съ М. А. Бакунинымъ у Бѣлинскаго въ это время отношенія стали холодными, хотя переписка между ними еще не прекращалась. «Для тебя, — писалъ Бѣлинскій (13 августа 1838 г.), — жизнь есть повѣрка знанія, для меня наоборотъ». Для Бѣлинскаго истина «существуетъ не столько сама по себѣ, сколько по способу, какимъ она представляется: если она блеститъ радужнымъ блескомъ образа, — она моя». «Мысль живетъ во мнѣ, — читаемъ мы далѣе, — подчасъ, но какъ живетъ? — такъ, что если сама не оставитъ меня, то ее надо оторвать съ кровью, съ нервами». Въ письмѣ отъ 12 октября 1838 года Бѣлинскій говоритъ: «я всегда глубоко уважалъ и буду уважать тотъ народъ, о которомъ сказано: гласъ Божій — гласъ народа и который есть живая, олицетворенная субстанція, которой образованные люди суть опредѣленіе, есть резервуаръ идей, дѣйствій, осуществляемыхъ и сознаваемыхъ индивидами».

Но вскорѣ отношенія между Бѣлинскимъ и М. Бакунинымъ совершенно порвались. 6 апрѣля 1841 года изъ Петербурга Бѣлинскій пишетъ Николаю Александровичу Бакунину, что этотъ разрывъ стоилъ ему трехлѣтней лихорадочной борьбы. Упомянутое письмо заключаетъ въ себѣ горькія жалобы на неудачную личную жизнь знаменитаго писателя.



Г. Пыпинъ напечаталъ изъ этого письма большое извлеченіе (II, 128—130), и я приведу лишь нѣсколь-ко новыхъ выдержекъ: «Томясь попрежнему, — гово-ритъ Бѣлинскій, — танталовскою жаждой любви, я въ то же время никакъ не умѣю понять для себя воз-можности любить больше года женщину, какъ бы ни была она прекрасна и какъ бы ни любила меня». — «Къ рѣдкой женщинѣ, — замѣчаетъ критикъ, — нельзя примѣнить лермонтовскаго: «Пускай ее поплачетъ, — ей ничего не значить». «Сколько въ жизни встрѣ-чается прекраснѣйшихъ женственныхъ личностей въ обладаніи у скотовъ, и спросите каждую изъ нихъ, — рѣдкая не сознается въ томъ, что ее любилъ достой-ный человѣкъ, котораго она отвергла». «Я одинъ въ мірѣ, мое сердце ни для кого не бьется, потому что для него не билось ни одно сердце». «Я часто же-лаю смерти, и мысль о ней ужъ болѣе умиряетъ и грустно утѣшаетъ меня, чѣмъ пугаетъ и мучить». Но память о сестрахъ Бакунина, — пишетъ Бѣлинскій, — свята для него.

9 декабря 1841 года онъ отправилъ еще письмо Н. А. Бакунину. Въ полученномъ незадолго передъ тѣмъ письмѣ этого послѣдняго были приписки Татъ-яны Александровны и Александры Александров-ны. Бѣлинскій былъ очень тронутъ теплымъ от-ношеніемъ къ нему. Онъ жалуется на отсутствіе въ его природѣ гибкости и говоритъ: «я рожденъ, чтобъ называть вещи ихъ настоящими именами, я въ мірѣ боецъ...» Бѣлинскій возстаетъ противъ «кружка, ко-торый раждаетъ исключительность и странности; но у всякаго, — прибавляетъ онъ, — долженъ быть свой



уголокъ, куда бы онъ могъ укрыться отъ ненастья жизни \*).

Почти черезъ годъ Виссаріонъ Григорьевичъ въ письмѣ къ тому же лицу превозноситъ Жоржъ Зандъ. «Читали ли Ораса?—спрашиваетъ онъ.—Эта женщина (Жоржъ Зандъ) рѣшительно Іоанна д'Аркъ нашего времени,—звѣзда спасенія и пророчица великаго будущаго».

Н. А. Бакунинъ извѣстилъ Бѣлинскаго о своей предстоящей женитьбѣ. Въ отвѣтномъ письмѣ Бѣлинскій поздравляетъ жениха, шутитъ, желаетъ счастья. «Все великое на землѣ божественно,—пишетъ онъ,—а все божественное—просто». «Боже сохрани не понять этого и ожидать отъ любви чудесъ,—сама любовь есть чудо». «Страшитесь, какъ вѣрной гибели, все найти въ одномъ». «Я могу или еще болѣе полюбить плѣнившій меня женственный образъ за его понятія или совѣмъ разлюбить его за нихъ». Бѣлинскій пишетъ, что ему хочется опять пріѣхать въ Прямухино. «А сколько у меня предметовъ для разговоровъ,—воскликаетъ онъ,—живыхъ разговоровъ, которыми красна разумная бесѣда и мила человѣческая жизнь!» Но обстоятельства складывались для Виссаріона Григорьевича неблагопріятно. «Вѣдь и погрузить сильно не всегда удастся,—жалуется онъ; одна апатія—всегдашняя гостя» \*\*).

\*) А. Н. Пыпинъ приводитъ изъ этого письма другія извлеченія (II, 130—131). Къ Н. А. Бакунину написано и то письмо, которое цитируетъ г. Пыпинъ на 162 стр. II тома.

\*\*) А. Н. Пыпинъ приводитъ изъ этого письма другую выдержку (II, 163).



Весьма замѣчательно письмо, отправленное Бѣлинскимъ 8 марта 1843 года къ Н. А. Бакунину. Въ немъ онъ пишетъ и сестрамъ Николая Александровича. «Во мнѣ всегда была, — говоритъ Бѣлинскій, — глубокая жажда, мучительный голодъ умственной дѣятельности, и есть способность къ ней, но не было для нея ни пищи, ни почвы, ни сферы». Указывая на то, что любовь часто потухаетъ у высокихъ и глубокихъ натуръ, Бѣлинскій спрашиваетъ: «Гдѣ, въ чемъ причина этого явленія? Въ общественности, въ которой все человѣческое является безъ всякой связи съ дѣйствительностію, которая дика, грязна, бессмысленна, но на сторонѣ которой еще долго будетъ право силы». Виссаріонъ Григорьевичъ радуется, что изъ его отношеній къ семьѣ Бакуниныхъ исчезли *дымъ и чадъ*, что «осталось одно тихое, ровное, свѣтлое и кроткое пламя взаимнаго расположенія, взаимнаго уваженія». Бѣлинскій теперь страшится любви. Ему глубоко пали на душу стихи Лермонтова: «Любить, но кого же?»... Нѣсколько раньше, 23 февраля, онъ писалъ къ тѣмъ же друзьямъ, что о любви не мечтаетъ, что потребность сочувствія «вспыхиваетъ рѣдко, зато, право, одна минута стоитъ годовъ страданія». «Съ горя, — прибавляетъ Бѣлинскій, — чтобы любить хоть что-нибудь, завелъ себѣ котенка и иногда развлекаю себя удовольствіемъ кроткихъ и невинныхъ душъ — играю съ нимъ». Бѣлинскій посмѣивается надъ тѣмъ, что женщины, по статьямъ, считаютъ его героемъ, и сообщаетъ, что «воротился г. Ктк. — то-то дрянъ-то! Это воплощеніе раздутаго самолюбія. Ну, да чортъ съ нимъ, — онъ не стоитъ, чтобъ и говорить о немъ».



Въ послѣднемъ изъ бывшихъ у насъ писемъ, къ Татьянѣ Александровнѣ изъ Петербурга, отъ 5 декабря 1844 года, Бѣлинскій дружески поздравляетъ Александру Александровну съ замужествомъ.

Перечитывая поблекшія отъ времени письма Бѣлинскаго, написанныя то спокойно, то нервно, на цѣлыхъ тетрадахъ и на отдѣльных клочкахъ, проникаешься благоговѣйною любовью къ этому безконечно искреннему и честному человѣку. «Его личная многострадальная жизнь,—говоритъ Пыпинъ,—останется, безъ сомнѣнія, не для одного настоящаго поколѣнія высокимъ примѣромъ нравственнаго достоинства и стремленія къ жизненной истинѣ».



## Памяти Некрасова.

(По поводу пятнадцатилѣтія его кончины).

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ, въ тяжелый годъ войны съ Турціей, скончался пѣвецъ *инѣва и печали*, Николай Алексѣевичъ Некрасовъ. Много было написано объ этомъ знаменитомъ поэтѣ и журнальномъ дѣятелѣ, и я далекъ отъ мысли сказать что-либо новое. И дарованіе Некрасова, и его личный характеръ подвергались и подвергаются обсужденію, не всегда безпристрастному, правда, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже озлобленному. Для многихъ и многихъ Некрасовъ по прежнему принадлежитъ къ числу даровитѣйшихъ и симпатичнѣйшихъ художниковъ нашего слова, а вліяніе его не можетъ, конечно, оспариваться самыми яростными противниками поэта, противниками того *направленія*, однимъ изъ вождей котораго былъ Некрасовъ. Даже нѣмецкій переводчикъ нѣкоторыхъ изъ его стихотвореній счелъ нужнымъ отмѣтить, что онъ былъ «знаменитый тенденціозный лирикъ» \*).

---

\*) Fiedler: Der russische Parnass. 1889.



Тенденціозный лирикъ! Что это значитъ? Когда Лермонтовъ писалъ свое страстное и гнѣвное «*На смерть Пушкина*», когда самъ Пушкинъ мечталъ, взойдетъ ли надъ отечествомъ заря свободы просвѣщенной, или когда онъ ставилъ себѣ въ заслугу, въ право на безсмертіе, то, что въ жестокой вѣкъ возславилъ онъ свободу и милосердіе воспѣлъ, — не были ли и Пушкинъ, и Лермонтовъ *тенденціозными лириками*? Иными словами: не владѣла ли ихъ поэтическимъ настроеніемъ опредѣленная идея и притомъ такая идея, родственные отголоски которой мы находимъ именно у Некрасова? Этого мало: *всякій лирикъ* долженъ, такъ или иначе, оказаться тенденціознымъ. Фетъ, воспѣвшій въ прелестныхъ стихахъ «шопоть, робкое дыханье», былъ правъ, былъ вполне художникомъ; но почему же пробуждать другія «чувства добрыя» и карать зло, призывать осмѣяннаго пророка, на голосъ мщенья, изъ золотыхъ ноженъ вырвать свой кинжалъ, покрытый ржавчиной презрѣнья, — почему все это будетъ прегрѣшеніемъ противъ истинныхъ требованій искусства?

Любители «чистой поэзіи» могутъ найти у Некрасова и не тенденціозныя, въ ихъ смыслѣ, стихотворенія. Онъ воспѣвалъ и любовь, рассказывая, на примѣръ, о томъ, какъ долго не сдавалась Любушка-сосѣдка. Но справедливо, что такія стихотворенія являлись исключеніемъ, что Некрасовъ понималъ любовь выше и чище, чѣмъ жрецы *чистаго искусства*. Какъ понималъ, — для этого надо прочесть хоть «*Русскихъ женщинъ*» или «*Сашу*». Глубина личного чувства, просвѣтленнаго не менѣе глубокою преданностью любимому че-



ловѣку и любимой идеѣ, всегда звучать у Некрасова, когда онъ говоритъ о женщинахъ. Благодатна

Всякая буря душѣ молодой,—

Зрѣетъ и крѣпнетъ душа подъ грозой,—

замѣчаетъ поэтъ, и въ лицѣ княгини Волконской и Трубецкой показываетъ намъ, на какую высоту поднимается въ такой грозѣ душа русской женщины. Когда ея соперницей является «къ родинѣ любовь»,— она идетъ на всѣ лишенія, на всѣ бѣды и на всяческое горе... Не мудрено, что она возбуждаетъ въ подобные моменты благоговѣніе и друзей, и враговъ....

Некрасовъ родился въ 1821 году, 22 ноября. Первое его стихотвореніе появилось въ печати въ 1838 году, а въ январѣ 1840 года былъ напечатанъ первый сборникъ его произведеній *«Мечты и звуки»*. Какъ извѣстно, Некрасовъ долженъ былъ выйти изъ Ярославской гимназіи изъ-за сатирическихъ стихотвореній, направленныхъ противъ нѣкоторыхъ учителей. Сатирическія ноты часто потомъ звучали въ его поэзіи, но уже рано,—черезчуръ рано, въ душу мальчика забрались скорбныя думы, сдѣлавшія изъ Некрасова одного изъ сильнѣйшихъ лирическихъ поэтовъ. Онъ не помѣстилъ въ послѣдующія изданія своихъ сочиненій ни одного изъ стихотвореній сборника *«Мечты и звуки»*, и, однако, сборникъ этотъ, какъ справедливо полагаетъ г. Барро, заключаетъ уже въ себѣ основные элементы Некрасовской поэзіи \*).

---

\*) М. Барро: «Забытое» («Мечты и звуки», Н. А. Некрасова). Критическій очеркъ. С.-Пб. 1892.



Насмѣшка, печаль, мечтательность составляютъ раннія особенности этой поэзіи. Вотъ что писалъ, напримеръ, юноша-Некрасовъ:

«Еще младенцу въ колыбели  
Мечты мнѣ тихо пѣсни пѣли  
И съ ними свыклася душа.  
Онѣ, чудесной жизни полны,  
Ко мнѣ нахлынули, какъ волны,  
Напѣвомъ слухъ обворожа.  
Вскипало сердце дивнымъ даромъ,  
Заклокоталъ огонь въ груди,  
И духъ, согрѣтый чистымъ жаромъ,  
Преградъ не вѣдалъ на пути.  
Отозвались желанья волѣ,  
Однажды ею подыша,  
Въ міръ, мнѣ невѣдомый дотолѣ,  
Рванулась пылкая душа.  
Отважно глянулъ я, сынъ праха,  
Въ широкій, радужный эфиръ,  
Сроднилось сердце съ нимъ безъ страха,  
И разлюбилъ я дольний міръ.  
И долго тамъ, въ странѣ лазурной,  
Его чуждаясь, пробылъ я,  
И счастье пилъ изъ полной урны  
Полуземного бытія.  
Мое сродство съ подлуннымъ міромъ,  
Казалось, рушилось на вѣкъ.  
Я, горнимъ дышущій эфиромъ,  
Былъ больше духъ, чѣмъ человѣкъ».

Въ стихотвореніяхъ *«Злой духъ»*, *«Сомнѣніе»* и въ нѣкоторыхъ другихъ Некрасовъ говоритъ о тревожныхъ мечтахъ, о разставленныхъ сѣтяхъ, о томъ, что дряхлый міръ не обманетъ поэта *поддельнымъ блескомъ красоты*.



«Мечты и звуки» успѣха не имѣли, но за то Бѣлинскій горячо привѣтствовалъ знаменитое стихотвореніе «*Въ дорожѣ*» (1846 годъ). Здѣсь уже вполнѣ опредѣленно, по условіямъ времени, выразилось то глубокое пониманіе и сочувствіе горю народному, которыя красною нитью проходятъ въ поэзіи Некрасова. Я думаю поэтому, что слѣдуетъ устранить одно недоразумѣніе въ оцѣнкѣ Некрасова: нельзя, по моему мнѣнію, противопоставлять въ немъ человѣка сороковыхъ годовъ человѣку шестидесятыхъ, какъ это дѣлають нѣкоторые писатели. При этомъ имъ приходится впадать въ невольныя противорѣчія. Такъ, напр., въ одномъ мѣстѣ одинъ изъ такихъ критиковъ заявляетъ: «Съ 1841 по 1845 годъ слѣдуетъ важнѣйшій періодъ во всей жизни Некрасова, потому что въ продолженіе его окончательно сформировались всѣ его умственные и нравственные силы, и онъ является подъ конецъ его такимъ, какимъ оставался во всю послѣдующую жизнь». Главнымъ двигателемъ умственнаго развитія Некрасова, опредѣлившимъ всю его дальнѣйшую литературную дѣятельность, критикъ признаетъ Бѣлинскаго.

А черезъ нѣсколько страницъ онъ же говоритъ, что «одними мотивами сороковыхъ годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова, что рядомъ съ ними вы найдете въ ней массу звуковъ, дѣлающихъ его поэзію особенно дорогою для людей младшихъ поколѣній». Дальше говорится, что *разночинно-народный* элементъ началъ вытѣснять у Некрасова элементъ сороковыхъ годовъ—*рефлективный* \*), причемъ, будто бы, разно-

---

\*) Рѣдко случается читать столь странное противоположеніе терминовъ.



чинцы шестидесятыхъ годовъ раскрыли Некрасову «положительныя, идеальныя стороны народа, не имѣющія ничего общаго съ прежними его идеалами».

Еслибъ это было такъ, то Некрасовъ не оставался бы «во всю послѣдующую жизнь» такимъ, какимъ онъ окончательно сформировался въ сороковыхъ годахъ, и главнымъ двигателемъ его умственной развѣтлѣ не могъ бы быть Бѣлинскій. Мы привыкли думать, что не разночинцы шестидесятыхъ годовъ раскрывали Некрасову положительныя и идеальныя стороны народа, а что самъ поэтъ былъ однимъ изъ наиболѣе вліятельныхъ вождей нашего общественнаго движенія, однимъ изъ умнѣйшихъ и энергичнѣйшихъ руководителей нашей повременной печати. Уже въ 1847 году Некрасовъ издаетъ съ Панаевымъ, подъ редакціей Никитенко, «Современникъ». Въ первой книжкѣ этого журнала напечатаны статьи Бѣлинскаго «Взглядъ на русскую литературу 1846 года» и Никитенко «О современномъ направленіи русской литературы». Тому направленію, которое было намѣчено въ этихъ статьяхъ, Некрасовъ оставался вѣренъ всю свою жизнь, и въ свѣтлые и въ трудные дни для русской общественной мысли.

«Мы живемъ», писалъ Никитенко, «въ такое время, когда искусству, особенно литературѣ предстоитъ много подвиговъ прекрасныхъ и благородныхъ». «Нѣтъ ни одного общества», продолжалъ редакторъ «Современника», «которое бы при всей своей шаткости, при всей грубости нравовъ, пошлости и легкомысліи страстей своихъ, не таило въ себѣ стихій чего-нибудь великаго и прекраснаго. Безъ этой жизненной силы чело-



вѣчества, связующей всѣ части мыслящаго организма высшимъ царственнымъ единствомъ, оно рассыпалось бы и разложилось, какъ трупъ, лишенный духа жизни». Мы не остались, замѣчаетъ Никитенко, равнодушными ни къ одному изъ великихъ современныхъ вопросовъ, занимавшихъ человѣчество въ лицѣ его представителей—народовъ образованныхъ. Проповѣдуемая въ нѣкоторыхъ ученіяхъ ложная народность не уничтожила и не въ состояніи уничтожить въ насъ прекраснаго качества, заставившаго сказать одного изъ великихъ мѹжей: «Я человѣкъ и ничто человѣческое мнѣ не чуждо». Русская литература, говорилъ Никитенко, приняла въ себя *стихію общественности* и должна совершенствоваться въ этомъ направленіи.

Такъ писалъ редакторъ «Современника» въ 1847 году. Нужно ли напоминать, что писалъ Бѣлинскій? Не каждому ли образованному человѣку извѣстно, какъ близки были взгляды этого знаменитаго критика и публициста съ тѣми идеями, которыя проповѣдывались лучшими и наиболѣе вліятельными *разночинцами шестидесятыхъ годовъ*? Достаточно напомнить, съ какимъ глубокимъ уваженіемъ относился къ Бѣлинскому авторъ «*Очерковъ гооголевскаго періода русской литературы*», или привести нѣсколько стиховъ самого Некрасова изъ «*Медвѣжьей охоты*».

«Бѣлинскій былъ особенно любимъ...

Молясь твоей многострадальной тѣни,

Учитель! передъ именемъ твоимъ

Позволь смиренно преклонить колѣни!»

Некрасовъ ясно и вполнѣ понималъ значеніе просвѣтительной дѣятельности Бѣлинскаго:



«Ты насъ гуманно мыслить научилъ,  
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ,  
Едва-ль не первый ты заговорилъ  
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ“.

Стройно и послѣдовательно развивалось высокое дарованіе Некрасова, всегда оставался онъ вѣренъ тѣмъ гуманнымъ завѣтамъ, которые составляютъ славу людей сороковыхъ годовъ. Когда настало царствованіе Александра II, литература получила возможность широко принять въ себя *стихію общественности*, и стихотворенія Некрасова зазвучали громче и многообразнѣе. Въ воспоминаніяхъ Н. К. Михайловскаго сказано, что онъ чувствовалъ, когда подошелъ къ редакціи «Отечественныхъ Записокъ», къ несомнѣннымъ вершинамъ русской литературы: Некрасову, Салтыкову, Елисѣеву. «А изъ-за этихъ трехъ, прибавляетъ Михайловскій, выглядывали еще образы Добролюбова, Чернышевскаго, Бѣлинскаго, «какъ бы передавшихъ имъ свой авторитетъ» \*). Вотъ эту-то преемственность, въ которой вся сила просвѣщенія и общественныхъ успѣховъ, и забываютъ люди, противопоставляющіе движеніе сороковыхъ годовъ движенію годовъ шестидесятыхъ.

Да, Бѣлинскій сильно и благотворно повліялъ на Некрасова. Поэтъ сумѣлъ внести въ свои произведенія духъ нашихъ славныхъ вождей въ сороковые годы и сохранить всю жизнь благоговѣйную память къ геніальному учителю. Незадолго до кончины Некрасовъ писалъ:

---

\*) «Русская Мысль», апрѣль 1891, «Литература и жизнь».



Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ  
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ,  
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра —  
Чему достойнѣе служить могла бы лира?

Та мечтательность, о которой говорилось выше, не покидала Некрасова и въ дни страданій. Онъ обращался къ музѣ, чтобъ она «крылатыхъ грезъ толпой воздушной» населила его воображеніе. До конца дней въ душѣ поэта была неистребима

«Мечта любви, не знающей конца».

Мы находимъ, такимъ образомъ, въ Некрасовѣ всѣ черты *человѣка* сороковыхъ годовъ, въ лучшемъ смыслѣ слова. Если на ряду съ этими чертами развились у него и другія особенности, то не онѣ характеризуютъ знаменитаго писателя. Не шестидесятыми годами созданъ онъ, ни въ чемъ существенномъ они не измѣнили Некрасова, явившагося въ эту эпоху не ученикомъ, а однимъ изъ наиболѣе вліятельныхъ учителей.

Поэтъ говорилъ, въ невыносимыхъ мукахъ, что жадно желаетъ скорѣй умереть, —

«Вамъ же не праздно, друзья благородные,  
Жить и въ такую могилу сойти,  
Чтобы широкіе лапти народные  
Къ ней проторили пути...

Такой могилы заслужилъ самъ Некрасовъ. Съ полнымъ правомъ онъ могъ надѣяться, что вѣщими будутъ слова его страдальцы-матери, — слова, которыя вызвало его воображеніе, когда тяжкая болѣзнь уже приковала поэта къ смертному одру:



«Не бойся горькаго забвенья:  
Ужъ я держу въ рукѣ моей  
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья,  
Даръ кроткой родины твоей...  
Уступить свѣту мракъ упрямый,  
Услышишь пѣсенку свою  
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой.  
Баю-баю-баю-баю!..



## Въ поискахъ идеала.

---

Въ исторіи нерѣдко случалось, что цѣлое поколѣніе людей утрачивало вѣру въ лучшія преданія, отрекалось отъ цѣлей, ради которыхъ боролись и страдали прежнія поколѣнія. Наступалъ періодъ отчаянія или, по крайней мѣрѣ, унынія для однихъ, страстнаго исканія новой правды для другихъ. Подобное время переживаемъ и мы, не только русскіе, но отчасти и западно-европейское общество. Великія идеи, при имени которыхъ сильно билось сердце юноши еще въ недавніе годы, не возбуждаютъ теперь энтузіазма во многихъ, а въ другихъ не только не встрѣчаютъ сочувствія, но вызываютъ неразумный и несимпатичный гнѣвъ.

Одинъ изъ сотрудниковъ газеты *Justice*, Гиного, задумалъ изслѣдовать это явленіе, *идеалистическую реакцію*, какъ онъ его называетъ. Идеализмъ, мистицизмъ, буддизмъ и сходныя съ ними теченія мысли и настроенія болѣе или менѣе чувствуются въ современной Франціи и выражаются въ оригинальныхъ, нерѣдко совершенно уродливыхъ теченіяхъ въ литературѣ и



искусствѣ. Гинодо рѣшилъ обратиться за справками и разъясненіями къ руководителямъ этой *идеалистической реакціи* (мы увидимъ, что этотъ терминъ совершенно незаслуженъ туманными теоріями и сумасбродною оригинальностью *реакціонеровъ*) и къ нѣкоторымъ изъ главныхъ и даровитѣйшихъ представителей здраваго смысла и точной научной мысли, которыхъ, къ счастью, не мало во Франціи.

Въ *Justice* напечатанъ длинный рядъ бесѣдъ Гинодо съ различными французскими мыслителями и художниками. Въ виду общеевропейскаго значенія *идеалистической реакціи*, знакомство съ интереснѣйшими изъ этихъ бесѣдъ полезно и для русскаго читателя.

Обращается Гинодо къ одному изъ вождей реакціи, къ извѣстному знатоку нашего романа, Мельхиору де-Вогюе. «Вы меня спрашиваете, — отвѣтилъ Вогюе на вопросъ сотрудника *Justice*, — каковы причины спиритуалистической или, точнѣе, идеалистической реакціи, свидѣтелями которой мы являемся. Очевидно, что одною изъ причинъ служить историческій законъ, законъ колебанія, смѣны доктринъ, который всегда обнаруживался въ послѣдовательной жизни обществъ. Не будучи колдуномъ, за двадцать лѣтъ можно было предсказать, что будетъ реакція, на томъ основаніи, что тогда шли въ совершенно противоположномъ направленіи. Нельзя было точно обозначить срокъ реакціи, но она была неизбежна».

Вогюе находитъ, что въ послѣднія десятилѣтія умы во Франціи были направлены исключительно къ раскрытію научной истины, къ позитивизму, къ анализу. Сердце, воображеніе не были удовлетворены, и они



должны были протестовать рано или поздно, начать реакцію.

— Да, — говорит Гинодо, — сердце, воображеніе представляютъ, разумѣется, нѣчто; но можно ли только съ этимъ создать серьезное, глубокое движеніе? Необходимо стройное ученіе, философія...

Вогюе отвѣчаетъ, что происходящее ему самому кажется страннымъ. Онъ спрашивалъ многихъ молодыхъ людей, прошедшихъ университетскую науку, какого философа они предпочитаютъ? Въ отвѣтъ получалось, что они предпочитаютъ Толстого, Толстого — автора «Войны и мира» и «Анны Карениной», а не нравственно-философскихъ трактатовъ послѣднихъ годовъ.

— Толстой, — замѣтилъ на это Гинодо, — мистикъ. Онъ является великимъ въ защитѣ малыхъ и несчастныхъ, въ своемъ дѣятельномъ социализмѣ. Но въ своемъ «христианствѣ» онъ все-таки скорѣе основатель религіи, чѣмъ философъ. И кажется, что мистицизмъ, точнѣе, тревожное исканіе религіозной формулы, является главною заботой среди многихъ изъ французскихъ реакціонеровъ.

— Безъ сомнѣнія, — отвѣчаетъ Вогюе и прибавляетъ что на первыхъ порахъ его «Русскій романъ» привлекъ симпатіи французской молодежи къ Достоевскому, апостолу человѣческаго страданія, полному горячаго мистицизма. Вліяніе Толстого возросло позднѣе. Вогюэ не знаетъ съ точностью, куда приведетъ движеніе, однимъ изъ вождей котораго является онъ самъ, но думаетъ, что направится оно въ сторону католицизма. На замѣчаніе Гинодо о несовмѣстимости догматовъ



католицизма съ наукою вообще, Вогюэ возразилъ, что католицизмъ подобенъ зданію, нѣкоторые камни котораго отъ времени выпадаютъ. Ихъ замѣняютъ новыми и въ домѣ продолжаютъ жить. Вогюэ думаетъ, что культъ высокихъ учрежденій, *религія отечества*, сцепляющая отдѣльные элементы французскаго общества, не прочна, и что одинъ католицизмъ можетъ успѣшно исполнить эту задачу, если только могучее народное движеніе не рѣшитъ дѣла какимъ-либо инымъ путемъ и не опрокинетъ всѣхъ гаданій и теорій.

На-ряду съ Вогюэ вождями *идеалистической реакціи* являются Поль Дежарденъ, явно склоняющійся къ католицизму \*), и Эдуардъ Родъ, женевскій профессоръ. Родъ, въ отвѣтъ на письмо Гинодо, говоритъ, что названное движеніе мысли еще не закончено: его приходится характеризовать покуда различными прилагательными—спиритуалистическая, идеалистическая, мистическая и т. п. реакція. Причиною движенія (пробужденія чувства вообще и религіознаго въ особенности) и по мнѣнію Рода служитъ предшествовавшее преобладаніе отрицательнаго духа. Женевскій профессоръ полагаетъ, что движеніе въ концѣ-концовъ приведетъ къ соглашенію съ церковью.

Нѣсколько иначе смотритъ на дѣло извѣстный профессоръ Адольфъ Франкъ, основатель «Национальной лиги противъ атеизма». Франкъ,—если не ошибаюсь, еврей по происхожденію,—деистъ и идеалистъ, но врагъ католицизма. Въ *идеалистической реакціи* онъ,

---

\*) Этотъ католицизмъ, однако, представляется совершенною ересью, такъ какъ Дежарденъ отрицаетъ главнѣйшіе догматы римско-католической церкви.



подобно Вогюэ и Роду, видитъ естественный протестъ противъ узкихъ и безутѣшныхъ доктринъ, какія, по его мнѣнію, господствовали въ послѣднія тридцать лѣтъ. Собирали факты, анализировали ихъ, разсѣкали вещество, ничего не дѣлали для духа, для души, для общихъ идей. Гинодо справедливо возражаетъ, что этотъ упрекъ неоснователенъ, что можно не соглашаться съ научными выводами, кого утѣшаетъ это несогласіе, кто прячется отъ непріятныхъ выводовъ въ туманы мистицизма, но такіе «выводы», какъ эволюціонная, на примѣръ, теорія, нельзя же не признавать общими идеями. Ренанъ не спиритуалистъ, но развѣ онъ не идеалистъ?

Франкъ находитъ, что у Ренана нѣтъ ни идей, ни философіи,—онъ очаровательный скептикъ, а человечество не можетъ жить безъ откровенной религіи или философской вѣры въ божество. И Франкъ отмѣчаетъ въ университетской молодежи значительное усиленіе спиритуализма.

Разумѣется, интересно послѣ Франка послушать Ренана. Больной, престарѣлый уже философъ, которому немного уже оставалось жить, сохранялъ ясность духа и бодрость мысли. Онъ посмѣивается надъ мистическими увлеченіями, но признаетъ себя идеалистомъ. «Идеаль,—говоритъ Ренанъ,—есть цѣль жизни, какъ и цѣль искусства; его нельзя уничтожить». Буддистскія и иныя бредни, переходящія въ нездоровую нелѣпицу, онъ объясняетъ отчасти жаждою французовъ, парижанъ въ особенности, къ новизнѣ, къ сказочному. «Это тѣмъ легче,—добавляетъ Ренанъ,—что у насъ царитъ безусловная свобода, и



всѣ безумцы могутъ поэтому невозбранно отдаваться своему безумству». Во Франціи къ такимъ людямъ чувствуютъ слабость (не въ одной Франціи, замѣтимъ мы). Кромѣ того, нельзя не признать значительнаго пониженія уровня идей. Знаніе распространилось, его сдѣлали общедоступнымъ, но потокъ, ставши болѣе широкимъ, въ то же время обмелѣлъ. Ренанъ продолжаетъ, однако, вѣрить въ прогрессъ, который у насъ теперь въ модѣ осмѣивать. Извѣстная французскому мыслителю учащаяся молодежь отнюдь не потеряла вѣры въ науку и преданности ей, сохранила также и вѣру въ гуманные завѣты лучшихъ мыслителей прошлаго и нынѣшняго вѣка.

Не меньше стойкости убѣжденія и бодрости мысли нашелъ Гиного у Жюль Симона. Мнимыя откровенія современныхъ пророковъ мистицизма, оккультизма, спиритизма и т. п. постигнетъ, по его мнѣнію, въ скоромъ времени то же глубокое забвеніе, которое покрывало такихъ же прорицателей и въ давно минувшія столѣтія, и въ прошломъ вѣкѣ, и въ теченіе всего приходящаго къ концу XIX столѣтія. Ребяческія затѣи французскихъ неокатоликовъ, буддистовъ и т. п. не создадутъ никакого серьезнаго движенія. Надо, — прибавилъ Жюль Симонъ, — держаться свѣтлаго и прекраснаго разума, необходимо хранить преданія Декарта, Рабле, Монтеня, Монтескье, Бюффона, Вольтера...

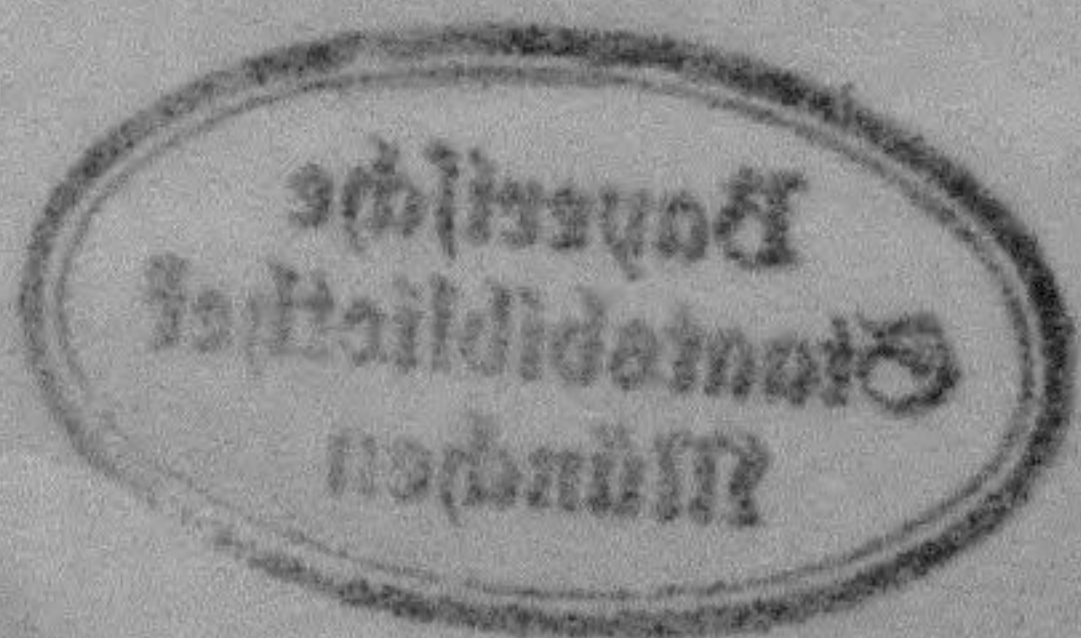
Чтобы показать, какое направленіе и какія формы принимаютъ во Франціи нѣкоторыя развѣтвленія того теченія, которое Гиного называетъ *идеалистическою реакціей*, приведемъ два-три примѣра. Нѣкто Пеладанъ, написавшій нѣсколько мистически-нелѣпыхъ книгъ,





прозвалъ себя *saromъ* (Sâr Peladan) и создалъ секту, въ которой католицизмъ, халдейская магія и мистицизмъ на подобіе Вагнера (композитора, — Пеладанъ считаетъ его величайшимъ послѣ Шекспира художникомъ) смѣшиваются въ безумномъ хаосѣ. Живописцы слѣдуютъ реакціи, бросаясь въ символизмъ, въ возвеличеніе дорафаэлевской школы. Другимъ и это кажется недостаточною реакціей противъ позитивизма и натурализма: они презрительно относятся къ наукѣ, для которой ихъ мнимыя сокровенныя тайны являются или ловкимъ шарлатанствомъ, или невѣжествомъ, или произведеніемъ больного ума и разбитыхъ нервовъ. Нерѣдко такіе мистики, какъ Эмиль Гудо, напримѣръ, приходятъ къ убѣжденію, что въ концѣ измышленнаго ими процесса, къ ихъ сожалѣнію, конечно, находится *нирвана*. Жюль Буа серьезно занятъ своею пьесой «Свадьба сатаны», и пьеса эта ставится на особой сектантской сценѣ. Авторъ говоритъ, что въ ней онъ передалъ въ современной формулѣ главную мысль *элевзинскихъ таинствъ*.

Не стану передавать содержанія этой претенціозной шельпости, пропускаю «Синархію» Сень-Ивесь-д'Альвейдра и многое другое, собранное неутомимымъ сотрудникомъ *Justice*. Остановлюсь на его сообщеніяхъ о герцогинѣ Помаръ и о г-жѣ Аданъ, извѣстной и у насъ политиканшѣ. Герцогиня Помаръ (Lady Caithnees, duchesse de Pomar) основала въ 1883 г. въ Парижѣ «Теософическое Общество Востока и Запада». Нѣсколько лѣтъ тому назадъ она начала издавать ежемѣсячное обозрѣніе *Заря*, въ которомъ сообщается о мистически-религіозномъ движеніи въ разныхъ странахъ міра,





въ особенности въ Англіи. Отвѣчая на письмо Гинодо, въ мартѣ нынѣшняго года, герцогиня Помаръ вѣщаетъ, что она почти ежедневно получаетъ изъ невидимаго міра тревожныя извѣстія объ ужасныхъ событіяхъ, которыя должны произойти раньше превращенія земли въ рай по сравненію съ ея теперешнимъ состояніемъ...

Г-жа Жюльетта Аданъ какъ-то сказала, что она — язычница и этимъ отличается отъ другихъ женщинъ. Въ настоящее время она вѣритъ въ переселеніе душъ, въ ихъ перевоплощеніе, при чемъ души совершенствуются, восходятъ къ божественному. По словамъ издательницы *La Revue Nouvelle*, она очень поднялась въ этой эволюціи. «Удивляются, — скромно замѣчаетъ г-жа Аданъ, — той точности, съ которою я напередъ опредѣляю тысячесложную игру внѣшней политики. Это очень просто: я смотрю сверху». Съ такой высоты она заявляетъ, что относится съ пренебреженіемъ къ позитивизму, къ матеріалистической наукѣ и предвидитъ наступленіе новаго христіанства, очень мало похожаго на дѣйствительное.

Послѣ герцогини Помаръ и г-жи Аданъ пріятно послушать, что говорилъ Гинодо знаменитый ученый Бертелло. Мистики упрекали его за фразу: «Нѣтъ больше тайнъ!» «Слѣдуетъ ли прибавлять, — замѣчаетъ Бертелло, — что изъ этихъ словъ вовсе не вытекаетъ, будто все уже извѣстно, а лишь то, что все можетъ быть извѣстнымъ. Наука двигается всюду, во всѣхъ смыслахъ. Вездѣ она совершаетъ открытія, одерживаетъ побѣды, превращаетъ неизвѣстное въ извѣстное. Дѣйствительно, нравственность, искусство, сердце, иде-



аль были въ послѣднее время въ нѣкоторомъ пренебреженіи, но наука всеобъемлюща, въ ея кругъ должна входить вся истина, вся безконечная поэзія вещей, вся гармонія естественныхъ законовъ. Есть чѣмъ утолить наиболѣе ненасытное стремленіе къ идеалу! Что касается опасеній вреда для науки отъ возрожденія мистицизма и т. п., то они напрасны: жизнь науки крѣпка, какъ крѣпка истина.

Раньше, чѣмъ у Бертелло, Гинодо побывалъ у известнаго соціолога Летурно. Летурно, погруженный въ научную работу, отнюдь не встревоженъ криками противъ науки. Онъ кончалъ трудъ, посвященный религіямъ. Движеніе, бесѣдовать о которомъ явился къ нему Гинодо, не представляется автору «Эволюціи морали» сколько-нибудь грознымъ. Студенчество, по его наблюденіямъ, вовсе не увлечено, въ массѣ, въ большинствѣ, мистическою реакціей и серьезно работаетъ въ научномъ духѣ. Причину этой реакціи Летурно видитъ въ плохомъ воспитаніи части молодежи, побывавшей въ рукахъ іезуитовъ и ихъ сподвижниковъ. Летурно недоволенъ и преподаваніемъ въ гимназіяхъ, лицеяхъ и факультетахъ. Опасенія за гибель идеала кажутся Летурно совершенно напрасными: человечество не можетъ жить безъ идеала, самый идеалъ очищается и возвышается по мѣрѣ историческаго развитія. Большія надежды французскій соціологъ возлагаетъ въ этомъ отношеніи на искусство, просвѣтленное нравственною идеей. Не придаетъ значенія реакціи или движенію, о которомъ идетъ рѣчь, и Альфонсъ Додэ. Онъ напомнилъ Гинодо нѣсколько фактовъ изъ своей молодости въ доказательство того, что



такія движенія, — почти всегда поверхностныя, — бывали и прежде во Франціи. Только теперь руководители мистической реакціи менѣе талантливы, а можетъ быть и менѣе искренни.

Обратился Гинодо и къ Золя, на котораго особенно яростно нападаютъ сторонники «новаго движенія», — нападаютъ на натурализмъ, во имя идеала. Золя полагаетъ, что движеніе это серьезно, что оно достигло уже предѣла своего распространенія и приведетъ къ... социализму. Золя подмѣтилъ у людей «идеалистической реакціи» склонность къ анархизму: это очень не сложно, это очень удобно и не требуетъ усилій мысли. Склонность, указанная Золя, обнаруживается въ *Обозрѣніяхъ молодыхъ* («Revue de jeunes»). Въ мірѣ литературномъ Золя объясняетъ реакцію такимъ образомъ: послѣ Гюго, Мюссе, Ламартина, Стендаля, Бальзака, Флобера и т. д. что дѣлать вновь прибывшему? Чтобы теперь завоевать себѣ вниманіе и почетъ, несбходимъ большой талантъ, а среди «*молодыхъ*» такового не нашлось. И вотъ желаніе славы, — а также и денегъ, — побуждаетъ нѣкоторыхъ писателей бросаться въ крайности, въ странности. Неудачи раздражаютъ, и на знамени новой эстетики можно было бы написать: «Сойди оттуда, чтобы мнѣ туда попасть».

Но есть и другая, болѣе глубокая причина реакціи. Наука раскрыла для будущаго блестящія перспективы, возбудила неслыханныя прежде надежды; но осуществитъ ихъ немедленно, когда въ мірѣ такъ много горя и бѣдности, не представляется возможнымъ. Отсюда объяснимы разочарованіе и реакція. Однако наука, хотя



и постепенно, дѣлаетъ свое дѣло, и если *молодые* посвящаютъ свои силы руководительству прогрессивнымъ движеніемъ общества, содѣйствію росту демократіи,— Золя будетъ съ ними. Онъ признаетъ нѣчто серьезное въ движеніи, направленномъ и противъ его натурализма и протоколизма.

Эдмондъ Гонкуръ относится къ *молодымъ* далеко не такъ спокойно, какъ Золя. Онъ упрекаетъ ихъ въ томъ, что они мало работаютъ, мало размышляютъ, ничего еще не сдѣлавши, выступаютъ съ широкоувѣщательными программами. Досталось отъ Гонкура и русскому натурализму, который будто бы самъ является заимствованіемъ изъ Франціи \*).

Сказаннаго достаточно для убѣжденія и въ крайней односторонности, переходящей въ совершенную нелѣпость, *идеалистической реакціи*, и въ томъ, что точное знаніе и благороднѣйшіе идеалы человѣка могутъ и должны идти рука-объ-руку. Конечно, если забыть высокія нравственныя предписанія Евангелія, если забыть (или совсѣмъ не знать), какъ много было у человѣчества ученыхъ и въ то же время идеалистовъ, мыслителей и въ то же время мучениковъ за свои убѣжденія,—то возможно ощутить тревогу, приняться за поиски *идеальной*, т.-е. ломиться въ открытую дверь, и порицать науку за то, что она занимается своимъ дѣломъ. А тамъ, конечно, гдѣ пресловутая *реакція* объясняется не невѣжествомъ, у нея

---

\*) „Nous rapporter de Russie, comme fleur autochthone, une herbe dont la graine est partie de la librairie Charpentier, c'est raide“. Претензія, что все исходитъ изъ Франціи, до сихъ поръ, стало-быть, живуча у французовъ.



найдутся менѣе почтенныя причины... Въ мірѣ такъ еще много обдѣленныхъ, такъ много страданій, что дѣйствительно для самаго идеалистическаго самоотверженія остается необозримое поле дѣятельности. Новѣйшимъ вздыхателямъ о погибшемъ будто бы идеалѣ не только французское, но уже и русское общество можетъ указать на свѣтлыя національныя и общечеловѣческія преданія, которыя связываютъ людей разныхъ и многихъ поколѣній въ общей работѣ общественныхъ улучшеній и личнаго совершенствованія. И намъ есть кого помянуть, есть на чьи идеалы сослаться, начиная съ Новикова и Радищева и до нашихъ дней... Не достаетъ не политическихъ и личныхъ идеаловъ, а ихъ разумнаго пониманія, искренней и дѣятельной преданности имъ.



## Нѣсколько замѣчаній о натурализмѣ въ искусствѣ \*).

Къ числу наиболѣе употребительныхъ и наиболѣе понятныхъ словъ, которыми пользуются въ сочиненіяхъ и бесѣдахъ объ искусствѣ, относится и слово *натурализмъ*. Имъ обозначается опредѣленное направленіе въ искусствѣ, которое имѣетъ многочисленныхъ теоретическихъ защитниковъ и убѣжденныхъ послѣдователей между художниками. И, тѣмъ не менѣе, мнѣ кажется, за этимъ названіемъ не установлено вполнѣ точнаго содержанія,—подъ натурализмомъ и сторонники, и противники его разумѣютъ,—иногда, по крайней мѣрѣ,—не одно и то же.

Натурально, естественно въ искусствѣ то, что соответствуетъ природѣ, похоже на природу. Отсюда задачей искусства для натуралистической школы и становится подражаніе природѣ, воспроизведеніе въ словѣ, въ краскахъ, въ звукѣ или мраморѣ ея явленій. Повидимому, просто и ясно; но просто и ясно ли это на самомъ дѣлѣ.

---

\*) Рефератъ, читанный на первомъ съѣздѣ художниковъ и любителей художествъ.



И, прежде всего, всякія ли явленія природы, относя сюда и человѣческую душу и явленія жизни общественной, можетъ и должно изображать искусство? Затѣмъ, всегда ли возможно удачное подражаніе природѣ? Неужели, наконецъ, у искусства нѣтъ другихъ задачъ?

Многіе художники на первый вопросъ отвѣчаютъ утвердительно. Искусство можетъ и, по ихъ мнѣнію, должно изображать все, на что упадетъ взглядъ человека. Дѣло состоитъ лишь въ томъ, какъ исполнено художественное произведеніе, виртуозно ли оно, совершенно ли въ техническомъ отношеніи. Этому направленію мы обязаны множествомъ рассказовъ и стихотвореній, въ которыхъ нѣтъ никакого смысла, множествомъ картинъ, на которыхъ нарисовано, какъ сушатъ бѣлье на заднемъ дворѣ, какъ снимаютъ это бѣлье, какъ роетъ землю свинья и т. п. Но, конечно, когда дѣло идетъ о школѣ, о серьезномъ направленіи въ области художественнаго творчества, не слѣдуетъ останавливаться на односторонностяхъ и крайностяхъ такой школы, и натурализмъ занимаетъ, разумѣется, несравненно болѣе выгодную позицію, когда теоретикомъ его является, наприм., Тэнъ или Золя. Задачею натурализма ставится тогда изображеніе не случайныхъ, а типическихъ явленій; художникъ не только подражаетъ природѣ, но изучаетъ, анализируетъ и обобщаетъ ея явленія. Эта теорія вовсе не такъ далека отъ идеализма, какъ думаютъ ея представители. И ея противники допускаютъ, что «превращеніе отвлеченнаго понятія въ образъ и, какъ неизбежное слѣдствіе этого, превращеніе разсужденія въ рассказъ, —



вотъ въ чемъ заключается весь секретъ поэзіи. Она по преимуществу—искусство повѣствовательное, чѣмъ и отличается отъ другихъ» \*). Когда Эмиль Золя въ своей серіи романовъ изображаетъ наслѣдственную передачу и развитіе пороковъ и способностей, онъ именно превращаетъ разсужденіе въ разсказъ, отвлеченное понятіе въ живой образъ.

Къ этому слѣдуетъ прибавить еще одно замѣчаніе: «существуютъ такіе факты органической жизни, которымъ никакое изображеніе не можетъ придать эстетическаго достоинства, которые положительно не годятся для живописи или поэзіи» \*\*).

Съ такими ограниченіями натурализма нельзя не признать, хотя его область, съ одной стороны, не покрываетъ природы, а съ другой—не покрываетъ всего объема искусства. Шербюлье приводитъ въ своей книгѣ слова знаменитаго Делакруа, который иногда клалъ возлѣ себя розу и говаривалъ: «Этотъ цвѣтокъ и вдохновляетъ меня, и приводитъ въ отчаяніе». «Ну, какъ намъ соперничать съ природой? — прибавляетъ Шербюлье. — Она дѣйствуетъ разомъ на всѣ наши чувства: зрѣніе, слухъ, обоняніе, и возбуждаетъ смѣшанныя, сложные ощущенія. Вы рисуете весну. Но что это за весна безъ ароматовъ?»

Если, съ одной стороны, искусство, не имѣя возможности воспроизвести всего богатства и разнообразія дѣйствительныхъ красокъ, ниже природы, то, съ другой стороны, оно выше природы, поскольку въ

---

\*) Шербюлье: „Искусство и природа“, стр. 162.

\*\*) Проф. Смирновъ: „Эстетика“, стр. 53.



художественное созданіе входитъ духъ человѣка, его пониманіе и истолкованіе дѣйствительности. Натурализмъ часто игнорируетъ это значеніе искусства, вызывая этимъ реакцію, которая въ свою очередь ударяется въ крайность. О главныхъ теченіяхъ во французскомъ искусствѣ и критикѣ въ русской литературѣ существуетъ достаточно указаній. Менѣе извѣстно состояніе искусства и критики нѣмецкой, почему я и сообщу объ этомъ нѣкоторыя интересныя, по моему мнѣнію, свѣдѣнія.

Противъ натурализма выступаетъ, на примѣръ, въ своихъ эстетическихъ изслѣдованіяхъ Карль Гольдманъ \*). Онъ указываетъ на то, что нѣтъ полной исторіи натурализма, которая должна была бы изобразить мѣняющіяся отношенія между искусствомъ и природою. Художественный натурализмъ существовалъ всегда, но въ наши дни онъ выступаетъ въ узкой, догматической формѣ, требуя изображенія жизни въ ея мелкихъ и грязныхъ проявленіяхъ, сводя задачи искусства къ подражанію дѣйствительности. Великіе художники—натуралисты, таковъ, на примѣръ, Гете; но у нихъ природа просвѣтляется, въ ихъ произведеніяхъ она подымается до поэзіи. Современному натурализму недостаетъ критерія существеннаго и несущественнаго.

Гольдманъ разсматриваетъ особенности французскаго и русскаго натурализма и отдаетъ предпочтеніе послѣднему (и норвежскому). Французскій натуралистъ является пессимистомъ, для него добродѣтель, самоотверженность, благородное чувство—обманчивыя при-

---

\*) *Karl Goldmann*: „Die Sünden des Naturalismus“.



зраки, и человекъ въ его глазахъ служитъ вмѣстилищемъ только животныхъ побужденій и грубаго эгоизма. У русскихъ натуралистовъ красною нитью проходитъ глубокое сочувствіе человеку, какъ бы онъ ни былъ ничтоженъ и преступенъ.

Гольдманъ ставитъ преобладаніе натурализма въ современномъ искусствѣ въ зависимость отъ господства естествознанія и вооружается противъ мнѣнія, по которому искусство должно пользоваться методомъ и приѣмами естественныхъ наукъ. Наблюденіе художника, — говоритъ онъ, — отличается субъективностью, онъ по-своему чувствуетъ явленія природы и въ ихъ изображеніе вноситъ свое настроеніе, свою индивидуальность. Само собою разумѣется, что изъ этого нельзя заключать, что художникъ не долженъ быть образованнымъ человекомъ и что ему не нужно знать анатоміи, фізіологіи и другихъ естественныхъ наукъ.

Особенно возмущаетъ Гольдмана натуралистическое изображеніе любви, при которомъ господствуютъ одни животныя влеченія. На этомъ я не буду останавливаться, какъ и на разсужденіяхъ о русскомъ искусствѣ, гдѣ, по мнѣнію нѣмецкаго критика, отсутствуетъ идеально-прекрасное, человѣчески-доброе, гдѣ побѣдили соціальныя и политическія тенденціи \*).

Трудно установить, — замѣчаетъ Гольдманъ, — границу между искусствомъ и философіей, между понятіями о прекрасномъ и нравственно-добромъ. Хорошій поступокъ мы называемъ прекраснымъ поступкомъ, и Гербартъ разсматриваетъ ученіе о нравственности, эти-

---

\*) Гольдманъ ссылается при этомъ на Эдвина Бауера.



ку, какъ часть эстетики. Вооружаясь во имя идеализма противъ натурализма, нѣмецкій писатель доходитъ до утвержденія, что натурализмъ равнозначущъ съ нигилизмомъ, что онъ проникнутъ разрушительнымъ духомъ.

Интересно сопоставить съ этими сужденіями взгляды на природу и искусство одного изъ представителей германскаго натурализма, Конрада Альберти \*).

Царству абсолютизма, говоритъ онъ, положенъ конецъ и въ искусствѣ. Новая эстетика должна изучать факты эстетическаго сознанія, выводить изъ этого изученія законы художественныхъ ощущеній и правила художественнаго созданія. Эстетическія стремленія и пониманіе развиваются въ исторіи, прекрасное не можетъ быть опредѣлено метафизическимъ путемъ. Натурализмъ, по мнѣнію Альберти, есть индивидуализмъ, тогда какъ художникъ-идеалистъ создаетъ типы. Выше этихъ родовъ искусства стоитъ реализмъ, воплощающій то, что живетъ въ человѣкѣ всегда и вездѣ, живетъ у каждаго народа на всѣхъ ступеняхъ развитія. Для этого реализма природа является божествомъ, истина—идеаломъ, онъ предъявляетъ два требованія: знаніе и сознательную работу во имя опредѣленной цѣли. Альберти считаетъ такой реализмъ міропониманіемъ будущаго; необходимымъ плодомъ эволюціоннаго оптимизма. Только онъ способенъ поднять человѣчество умственно, нравственно, художественно. Реализмъ выражаетъ истину въ дѣйствительности, изображаетъ естественные законы въ живыхъ воплощеніяхъ. Въ отличіе отъ реализма натурализмъ

---

\*) *Conrad Alherti*: „Natur und Kunst, Beiträge zur Untersuchung ihres gegenseitigen Verhältnisses“.



подражаетъ отдѣльнымъ состояніямъ, отдѣльнымъ предметамъ, не осмысливая ихъ, не отыскивая въ нихъ существеннаго. Но, подобно натурализму, реализмъ изгоняетъ изъ искусства все фантастическое. Альберти не осуждаетъ Гете за *Фауста* лишь потому, что онъ написанъ въ формѣ средневѣковой мистеріи (?), какъ бы въ то время, когда еще вѣрили въ существованіе Мефистофеля.

Реализмъ Альберти (къ его представителямъ онъ причисляетъ Блейбтреу, Конрада, Кретцера) признаетъ законность въ искусствѣ тенденціи. Она является *солью искусства*. Въ нѣмецкой живописи представителями этого направленія признаются Уде и Либерманнъ. Старая эстетика ошибалась, считая существеннымъ признакомъ эстетическаго чувства его безкорыстность, полагаетъ Альберти. Эта ошибочная точка зрѣнія привела къ тому, что по метафизической эстетикѣ Гартмана подражатель голосу животныхъ въ циркѣ долженъ быть признанъ, какъ художникъ, выше строителя страсбургскаго собора: соборъ или палаццо Питти, на примѣръ, служатъ практическимъ цѣлямъ, тогда какъ поющій пѣтухомъ клоунъ возбуждаетъ вполне безкорыстное удовольствіе. Альберти доказываетъ, что искусство возникло изъ практическихъ потребностей, что тенденція лежитъ въ его основѣ. Эсхиль былъ бы на половину непонятнымъ, еслибъ упустить изъ виду его стремленіе возвеличить аѳинскую аристократію и укрѣпить ареопагъ, на который тогда производились сильныя нападенія. Тиртей и Архилогъ, прежде всего, политическіе пѣвцы, Аристофанъ и Сервантесъ имѣли опредѣленные цѣли въ своихъ произве-



деніяхъ и т. д. Открытіе закона равенства по существу и неразрывности жизни и искусства, какъ высшаго эстетическаго закона, Альберти приписываетъ Лудольфу Винбаргу (*Die ästhetischen Feldzüge*).

Современное паденіе искусства, — говоритъ Альберти, — не случайно: оно является общественно необходимымъ, оно лежитъ въ существѣ буржуазнаго строя, который все развращаетъ и отравляетъ. Мелочность, поверхность, лживость, плоскость и пошлость — вотъ что накладываетъ буржуазія на произведенія искусства\*).

Искусство — неразрывная часть культуры, родная сестра политики, техники, науки, философіи. На самыхъ высшихъ ступеняхъ своего развитія оно тѣсно связано съ общею культурой, никогда не достигаетъ исключительно эстетическихъ цѣлей и находится въ вѣчномъ процессѣ развитія.

Такъ понимаетъ реализмъ Альберти. Очевидно, что его реализмъ есть видъ натурализма, представителемъ котораго является Тэнъ и многіе другіе. Такихъ реалистовъ характеризуетъ въ своей книгѣ Шербюлье слѣдующимъ образомъ: «Отъ реалистовъ пахнетъ на родомъ, и они ищутъ въ природѣ и въ человѣкѣ самаго непосредственнаго, примитивнаго, коренного. Они оказали большую услугу искусству, открывъ для поэзіи и живописи новыя области, цѣлинныя мѣста, такія стороны природы и человѣка, какими пренебре-

---

\*) Интересно мнѣніе Альберти о русскихъ художникахъ. „Французъ, — говоритъ онъ, — практическій рудокопъ, нѣмецъ — геологъ, русскій — палеонтологъ“. Въ техническомъ отношеніи выше всѣхъ стоитъ художникъ-французъ, какъ мыслитель, глубже всѣхъ — русскій художникъ.



гали идеалисты. Люди незамѣтные, смиренные сдѣлались героями». Реализмъ проявляется не только въ выборѣ сюжетовъ, но и въ приѣмахъ, въ методѣ художника. Методъ этотъ — естественный, простой и точный. Первая задача реалиста — показать характеръ предмета въ зависимости отъ данной среды.

Идеализмъ, по мнѣнію Шербюлье, есть склонность къ созерцанію только выдающихся, яркихъ явленій природы и жизни. Оба направленія законны въ искусствѣ и нерѣдко сочетаются другъ съ другомъ. Каждое изящное искусство не только подражаетъ природѣ, но и протестуетъ противъ нея. «Въ художественномъ произведеніи мы желаемъ видѣть жизнь и покой, дѣйствительность и скрывающуюся за нею мысль, правду и мечту, серьезный трудъ и свободную игру: иначе оно не удовлетворитъ насъ вполнѣ».

Въ этихъ словахъ заключается, по моему мнѣнію, указаніе на существенный недостатокъ натурализма или реализма въ искусствѣ: онъ выдаетъ часть за цѣлое, полагая, что въ области искусства нѣтъ и не должно быть мѣста воображенію, мечтѣ, идеализаціи. А между тѣмъ, это — естественныя способности и стремленія человѣческаго духа. Если я увижу что-либо ненормальное, неправильное въ томъ или другомъ отношеніи, я могу довести это явленіе до каррикатуры. Если я вижу въ жизни или въ исторіи сильнаго, великодушнаго человѣка, я могу мысленно увеличить размѣры его умственнаго и нравственнаго достоинства, я создамъ *идеалъ*. Странное и комическое, по нынѣшнимъ временамъ, слово, а между тѣмъ, жизнь красна именно здоровою идеализаціей, именно стремленіями замѣнить слѣпую



случайность, стихійную причинность сознательною борьбой за то, что считаешь правдой и красотой.

Если у художника нѣтъ за душою ни личныхъ, ни общественныхъ идеаловъ, если онъ доволенъ и собою, и дѣйствительностью, то все же, при сколько-нибудь серьезномъ отношеніи къ искусству, ему надо подумать о содержаніи своихъ натуралистическихъ произведеній, о выборѣ сюжета. Слѣдуетъ выбирать, въ мѣру таланта, значительное, существенно важное. Гдѣ же критерій для такого сужденія? Неужели возможно положиться въ этомъ отношеніи только на художественное чутье, на бессознательный эстетическій тактъ? Неужели даровитый художникъ можетъ жить и говорить, не интересуясь жизнью своего народа, философскою, научною и политическою мыслью? Впрочемъ, возможности существованія такихъ художниковъ нельзя не допустить: исторія укажетъ намъ на примѣры такого отношенія къ жизни и мысли. Но та же исторія не укажетъ, я думаю, ни одного гениальнаго художника, ни одного великаго творца, который не былъ бы *властителемъ думъ* своего времени и, въ исключительныхъ случаяхъ, всего человѣчества.

Критики, которые не признаютъ ни крайностей натурализма, ни ложныхъ метафизическихъ притязаній идеализма, составляютъ покуда меньшинство въ литературѣ и въ искусствѣ вообще. Они не согласны ни съ тѣми, кто требуетъ непременно идей и тенденцій отъ художника, ни съ тѣми, кто стоитъ за безпечальную случайность творчества, которое сегодня обращено на Гарибальди, завтра на Франческо. Такая точка зрѣнія вовсе не компромиссъ, а правильное различ-



ніе того, что существуетъ, отъ того, что слѣдуетъ предпочитать. Мы, прежде всего, наблюдаемъ факты, знакомимся съ исторіей искусства, съ его произведеніями старыхъ и современныхъ мастеровъ. Мы видимъ, что художникъ являлся нерѣдко гражданиномъ, что онъ принадлежалъ къ числу людей, для которыхъ добро, свобода и красота были неразрывно связанными элементами человѣчески достойной жизни. Замѣчаемъ мы и другое явленіе: художникъ бывалъ льстецомъ сильныхъ міра сего или олимпійски созерцалъ радости и горе воспитавшаго его общества. Мы знаемъ, что художники первой группы составляютъ славу и гордость страны, что ими расцвѣтаетъ искусство, что они ставятъ для него идеалы и пролагаютъ новые пути, тогда какъ художники второй группы — виртуозы, поражающіе, въ лучшемъ случаѣ, лишь техническимъ совершенствомъ и внѣшними эффектами. Нельзя глубоко заглянуть въ природу и изобразить ее, не подумавши глубоко, а чтобы дѣйствительно глубоко подумать, художнику надо стоять на уровнѣ вѣка, впереди избраннаго меньшинства, на ряду съ философомъ, ученымъ и гражданиномъ.

Почему сажень сосновыхъ дровъ, на примѣръ, художественный сюжетъ, а *Прикованный Прометей* изгоняется изъ искусства? Почему смѣлая мечта нормального, но богато одареннаго человѣка не заслуживаетъ воплощенія въ прекрасномъ образѣ? Признавая поэтому необходимость для искусства изученія человѣка и природы, полнѣйшую цѣлесообразность воспроизведенія типическихъ явленій природы, мы признаемъ, что этимъ задачи творчества не исчерпываются, что



есть другая, съ нашей точки зрѣнія даже высшая, область художественной дѣятельности: въ этой области создаются новыя комбинаціи элементовъ дѣйствительности, типическимъ фактамъ ея дается новое освѣщеніе, обнаруживается возвратное вліяніе человѣческаго духа на природу, въ широкомъ смыслѣ этого слова. Художники могутъ, конечно, уклоняться отъ этой, лично ни для кого необязательной миссіи, но эта миссія обязательна для искусства, составляетъ его наиболѣе важное, наиболѣе гуманное содержаніе. Величайшія художественныя созданія дарятъ міру лишь тѣ люди, въ лицѣ которыхъ дружно соединяются художникъ, мыслитель и гражданинъ.

Русское искусство страдало и радовалось съ русскимъ обществомъ, съ русскимъ народомъ. Въ нашей суровой природѣ, въ нашихъ трудныхъ историческихъ условіяхъ, оно являлось великимъ нравственнымъ утѣшеніемъ для каждаго образованнаго человѣка. Музыка Чайковскаго, какъ картина Рѣпина, будила у многихъ изъ насъ засыпавшую общественную чуткость, подымала изъ сѣренькой сутолоки въ свѣтозарную область чистыхъ помысловъ и возвышенныхъ стремленій. Когда мы, любители, смотримъ на шишкинскій лѣсъ, на киевское изображеніе Кавказа, когда мы жадно вглядываемся въ созданный Полѣновымъ образъ Христа, въ чудные пейзажи Волкова, — мы не можемъ вѣрить, чтобы эти художники были чужды тѣмъ гуманнымъ завѣтамъ, отъ которыхъ горячо бьется сердце юноши, отъ которыхъ мужественно подымается крѣпкая воля человѣка въ зрѣломъ возрастѣ. Искусство есть жизнь, есть ея прекрасное пониманіе и преобразованіе, оно



не можетъ разъединять того, что неразрывно связано въ душѣ живого человѣка, въ живомъ обществѣ, полномъ великихъ историческихъ надеждъ. Правда не должна быть безобразіемъ, красота не должна быть неправдою. Скромная и вдумчивая простота, которая отличаетъ русское искусство, отнюдь не свидѣтельствуешь о низкомъ уровнѣ тѣхъ идеаловъ, которыми проникнуты наши лучшіе художники. Крамской говорилъ, что Маковскій и Прянишниковъ «обладаютъ изумительнымъ искусствомъ тенденціозную картину сдѣлать нетенденціозною». Всѣ наши большіе писатели, — писалъ Крамской г. Суворину, — тенденціозны и всѣ художники тоже. И нечего бояться этой тенденціозности, когда она искренняя и глубокая, когда у художника есть талантъ, — вѣдь не любовь же къ справедливости и гуманности помѣшаетъ расцвѣту этого таланта. И еслибъ когда-нибудь, по горькой случайности, русскій художникъ забылъ о своемъ высокомъ назначеніи, мы имѣли бы право обратиться къ нему съ лермонтовскимъ вопросомъ:

„Проснешься-ль ты опять, осмѣянный пророкъ,  
Иль никогда на голосъ мщенья,  
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой кинжалъ,  
Покрытый ржавчиной презрѣнья?“

Но, думается мнѣ, такого вопроса не придется никогда задавать, и русскій художникъ всегда повторитъ мольбу поэта-гражданина Ивана Сергѣевича Аксакова:

„Пошли мнѣ бури и ненастья,  
Даруй мучительные дни,  
Но отъ преступнаго безстрастья,  
Но отъ покоя сохрани!“

---



## О пессимизмѣ въ современной литературѣ.

Съ легкой руки Шопенгауэра и Гартмана, въ наши литературныя сферы, прикосновенныя къ философской мысли, заронился и съ тѣхъ поръ тлѣетъ болѣе или менѣе серьезный пессимизмъ. Конечно, разочарованіе, признаніе въ мірѣ большого зла и неизбѣжности страданій звучатъ давно въ нашей литературѣ; но послѣдніе годы знаменуются широкимъ распространеніемъ пессимистическаго настроенія и попытками его систематическаго оправданія. Общевропейская болѣзнь отразилась и у насъ. Для ея исцѣленія необходимъ, прежде всего, правильный діагнозъ, а его сдѣлать всего удобнѣе на Западѣ, гдѣ болѣзнь протекаетъ давно и въ очень опредѣленныхъ формахъ.

Нѣмецкая философія непосредственно вліяла у насъ, во всякомъ случаѣ, на немногихъ. Въ этомъ отношеніи гораздо сильнѣе дѣйствовала французская беллетристика. Въ книгѣ Жоржа Пеллиссье находится очень интересный очеркъ пессимизма въ современной французской литературѣ, съ которымъ я и познакомлю читателей \*).

---

\*) *Georges Pellissier: „Essais de littérature contemporaine“. 1893. Legène, Oudin et C<sup>ie</sup> éditeurs.*



Пессимизмъ во Франціи,—говоритъ Пеллиссье,—не облекается въ форму систематическаго ученія, но имъ проникнута французская литература въ послѣднія двадцать или тридцать лѣтъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ пессимизмъ является модою, которая сама составляетъ довольно характерный признакъ времени.

Пессимизмъ, какъ настроеніе, какъ склонность ума, не есть, разумѣется, что-либо новое. Во всѣхъ странахъ и во всѣ вѣка раздавались искреннія и краснорѣчивыя жалобы на печали человѣческаго существованія. Въ наши дни пессимизмъ безличенъ и холоденъ. Онъ не издаетъ криковъ, онъ спокойно констатируетъ неизбежность несчастія и требуетъ, чтобы его переносили безъ упрековъ и горькихъ сожалѣній.

Съ небольшимъ двадцать лѣтъ тому назадъ во Франціи съ позоромъ рухнула имперія. Молодое поколѣніе вступавшее тогда въ жизнь, испытало тягостную скорбь, состояніе, близкое къ отчаянію въ будущемъ своей національности. Къ войнѣ съ чужеземцами, къ ненависти, которую возбудили нѣмцы, присоединились ужасы междоусобной войны, яростная классовая вражда. Къ этимъ вліяніямъ Пеллиссье присоединяетъ вліяніе того детерминизма, который отрицалъ всякое значеніе человѣческой воли, личныхъ усилій въ нравственной и общественной области. На разслабленную страшными несчастіями отечества душу поколѣнія, о которомъ идетъ рѣчь, ученіе о бесплодности и бессмысленности внутреннихъ усилій и личной борьбы должно было подѣйствовать окончательно угнетающимъ образомъ.

Пеллиссье оговаривается, что о французскомъ об-



ществѣ нельзя судить по одной литературѣ: произведение нѣсколькихъ, она обращается къ немногимъ. Пессимизмомъ заражены люди образованные, у которыхъ есть досугъ и навыкъ къ размышленію. Кто не размышляетъ, тотъ безсознательный оптимистъ, потому что въ природѣ нашей заключается любовь къ существованію.

Само собою разумѣется, что мышленіе вовсе не ведетъ роковымъ образомъ къ пессимизму: бѣда заключается въ томъ, что въ нашу эпоху разнородныхъ броженій и стремленій жизнь страшно усложнилась и умственное переутомленіе сдѣлалось обычнымъ явленіемъ. Старыя доктрины разрушены, и пылью ихъ обломковъ мы теперь дышемъ. Чрезмѣрное напряженіе ума, которому надо разобратся во всѣхъ жизненныхъ вопросахъ, нарушаетъ гармонію и душевныхъ, и тѣлесныхъ силъ, ослабляетъ волю и поэтому дѣлаетъ человѣка добычею пессимизма.

Къ этимъ словамъ французскаго писателя мы прибавимъ, что указанному имъ злу содѣйствуетъ школа средне-образовательная, которая переутомляетъ дѣтей, лишаетъ ихъ мысль бодрости и силы, внушаетъ равнодушіе и даже отвращеніе къ знанію и мышленію.

Приведенная выше оговорка Пеллиссье не мѣшаетъ ему, конечно, придавать литературѣ громадное значеніе. На искусствѣ отражаются общія условія духовной дѣятельности. Чисто объективнаго искусства, — говоритъ Пеллиссье, — не существуетъ: каждое художественное произведеніе предполагаетъ природу и человѣка; если исключить второго, останется одна природа, не будетъ искусства. Чѣмъ сильнѣе и живѣе



впечатлѣніе, производимое предметами на художника, тѣмъ менѣе способенъ онъ на тотъ нейтралитетъ, который хочетъ наложить на него химерическій объективизмъ.

Вслѣдствіе этого, художники, люди съ утонченными нервами, съ сильно развитою воспріимчивостью, въ эпоху, подобную нашей, особенно склонны къ пессимизму. Даже сравнительно неважныя печальныя явленія дѣйствуютъ на нихъ болѣзненно, напрягаютъ до крайности ихъ нервы и отражаются на художественномъ творчествѣ сильными преувеличеніями. Менѣе подвергается этому вліянію драматическое искусство, которое имѣетъ въ основѣ дѣйствіе, движеніе, т.-е. по природѣ своей противоположно пессимизму, призывающему къ бездѣйствію, къ апатіи, къ нирванѣ. Въ пьесахъ мы видимъ поэтому не пессимистовъ, а мизантроповъ, не скуку отъ существованія, а ненависть и презрѣніе къ человѣчеству. Современный театръ грѣшитъ тѣмъ, что въ этой формѣ пессимизмъ занялъ въ немъ значительное мѣсто.

Ясная, бодрая мысль, которая характеризуетъ названную книгу Пеллиссье \*), выразилась и въ полномъ осужденіи декадентовъ, символистовъ и всѣхъ психопатическихъ явленій, которыми богата теперь Франція и заразилась, къ сожалѣнію, и Россія. При этомъ сильно достается Боделеру и другимъ основоположникамъ литературнаго декадентства.

Если бы пессимизмъ состоялъ лишь въ признаніи существованія зла, то въ этомъ не было бы ничего

---

\*) Другое сочиненіе автора: *Le mouvement littéraire au XIX Siècle*, увѣнчано французскою академіей.



дурного. Наоборотъ, указаніе на зло, на необходимость борьбы съ нимъ заключаетъ въ себѣ высокое нравственное требованіе, весьма полезное и для отдѣльнаго человѣка, и для всего человѣчества. Быть пессимистомъ въ этомъ смыслѣ значитъ составить себѣ возвышенный идеалъ, видѣть въ грядущемъ человѣчество и лучшимъ, и болѣе счастливымъ. Такое представленіе даетъ силу для труда и борьбы, вмѣняетъ этотъ трудъ и борьбу въ непремѣнную обязанность. Вѣра въ то, что прогрессъ самъ собою совершается безъ насъ, безъ нашихъ усилій, есть вредный предразсудокъ, поощряющій лѣнивую и низкую трусость.

Въ другой статьѣ этой же книги Пеллиссье говоритъ объ эволюціи, совершающейся въ современной французской литературѣ \*). Онъ отмѣчаетъ реакцію, которую вызвали творенія декадентовъ, мистиковъ и символистовъ, т.-е. возвращеніе разума и здороваго чувства красоты въ область искусства, куда декаденты ввели нелѣпѣйшія и безсмысленныя ухищренія и отвратительный цинизмъ. Вмѣстѣ съ разумомъ и одухотворенною имъ красотой возвращается въ творчество и культъ справедливости, расширенный нѣжностью, — возвращается, какъ говоритъ Пеллиссье, *сантиментальный идеализмъ* (*idéalisme sentimental*). Волѣ, замѣтимъ мы, новѣйшая психологія отводитъ достаточную автономію для того, чтобъ идеалы и идеи вновь получили подобающее значеніе руководителей личной жизни и общественныхъ порядковъ. Естественно, что это значеніе возвращается имъ и въ области искусства. Идеальное и дѣйствительное — два равноправные и основ-

---

\*) *L'évolution actuelle de la littérature.*



ные принципы искусства. Идеализмъ, оторванный отъ реального, превращается въ нѣчто отвлеченное, расплывчатое, нелѣпое; реализмъ, устранившійся отъ идеала, впадаетъ въ убогую незначительность и въ грубость, потому что несвязанные идеей факты ничего не значатъ, какъ бы ни было велико ихъ число, а изображеніе, лишненное идеализаціи, поневолѣ впадетъ въ противоположную крайность, будетъ идеализаціей навыворотъ, т.-е. преувеличеніемъ самыхъ низменныхъ сторонъ человѣческой природы.

Любопытно, что наши защитники самодовлѣющаго искусства соединяютъ эту защиту съ борьбою противъ позитивизма и либерализма. Метафизика и искусство для искусства являются таранами, которыми доморощенные Поліоркеты хотятъ разрушить незыблемыя основанія научнаго мышленія и гуманныхъ политическихъ идей. Но гораздо больше правды въ утвержденіи тѣхъ сторонниковъ метафизики, которые признавали ее могучимъ двигателемъ политической свободы. Одинъ изъ знаменитѣйшихъ нашихъ юристовъ, ожесточенный врагъ позитивизма, г. Чичеринъ, въ своей книгѣ *Собственность и государство*, утверждаетъ, что именно метафизикъ новые народы обязаны своею свободой. Въ такой исключительной постановкѣ есть большая односторонность, но часть истины, во всякомъ случаѣ, въ этомъ мнѣніи заключается. Если правое крыло гегеліанцевъ обоготворяло существующее государство и преклонялось передъ прусскою казармой, то изъ лѣваго крыла выходили убѣжденнѣйшіе защитники либерализма, радикализма и социализма. Воистину можно сказать, что правое крыло не знало, что дѣ-



ласть лѣвое. Система прибрѣтенныхъ правъ Лассалѣ и *Капиталъ* Маркса написаны подѣ очевиднымъ влїанїемъ гегелевской философіи. У насъ Чернышевскій опирался въ защитѣ общиннаго землевладѣнїя на гегелевскій законъ діалектическаго развитїя. И теперь лучшіе, благороднѣйшіе представители метафизическаго мышленїя отстаиваютъ и свободу личности, и ея общественное достоинство, вполне сходясь въ этомъ отношенїи съ тѣмъ строемъ политической мысли, въ основу котораго кладется точное ознакомленїе съ условїями здороваго, нормальнаго развитїя и отдѣльнаго человѣка, и всего общества. Это совпаденїе показываетъ, что метафизика, при всей произвольности своихъ абсолютовъ, въ лицѣ своихъ генїальныхъ представителей сумѣла во многихъ случаяхъ глубоко заглянуть въ природу человѣка и въ ходъ всемірной исторїи. Поэтому къ нѣкоторымъ произведенїямъ философовъ-метафизиковъ, вопреки утвержденїямъ, которыя и теперь раздаются иногда въ лучшихъ нашихъ повременныхъ изданїяхъ (въ *Русскомъ Богатствѣ*, на примѣръ), къ величайшимъ представителямъ метафизической мысли, къ Спинозѣ или Канту, необходимо обращаться и въ настоящее время. И не пессимизму, конечно, научатъ такіе философы, а глубокому уваженїю передъ человѣкомъ, передъ его умственными усиліями, передъ величіемъ такого характера, какъ знаменитый творецъ *Этики*. Какой позитивистъ не прочтетъ съ удовольствїемъ слѣдующаго, на примѣръ, утвержденїя Спинозы: «Одни только люди свободные всего болѣе полезны другъ другу и бываютъ связаны между собою самою крѣпкою дружбой. Только они



одни стараются дѣлать добро другъ другу съ одинаковымъ рвеніемъ любви. А потому одни только люди свободные бываютъ благородными по отношенію другъ къ другу». Неблагодарный метафизикъ, стало-быть, въ особенности если онъ почитатель Спинозы (на словахъ), есть добровольный рабъ, т.-е. холопъ, по современному значенію послѣдняго слова.

Какія же причины нашего пессимизма, почему Шопенгауэръ, Гартманъ, Банзенъ пользовались въ послѣдніе годы довольно значительнымъ вліяніемъ въ русскомъ обществѣ? То переутомленіе въ школѣ и въ жизни, о которыхъ говорилось выше, объясняетъ многое, но не все. Несомнѣнно, что не мало у насъ было (и есть) пессимистовъ, которые на самомъ дѣлѣ москвичи въ гартмановскомъ плащѣ. Но не безъ вины и у насъ событія внѣшнія, условія, которыя налагаются на образованное меньшинство. Высокія ожиданія, когда они не сбылись, напряженіе мысли и чувства, совершенно не достигшее предположеннаго результата, нравственно надрываютъ человѣка. Если это дѣлается по недостатку личныхъ силъ или вслѣдствіе неблагопріятной случайности, опустятся руки лишь у малодушнаго или тщеславнаго; бѣда глубже, когда добрый результатъ предполагаетъ дружное сочетаніе *способныхъ къ благодарности людей*, а именно такого сочетанія въ данный моментъ не полагается.

Многимъ—и неглупымъ—людямъ можетъ при этомъ показаться, что мы теперь толчемся на мѣстѣ, что изсякъ источникъ животворной воды, идеальныхъ стремленій. Это будетъ большою ошибкой, ложнымъ основаніемъ для унынія и разочарованія. Вы видите



истокъ рѣки. Онъ растеть и быстро стремится впередъ. Русло углубляется и ширится. Но вотъ рѣка встрѣчаетъ препятствія. Начинаются пороги, громоздятся скалы, сдавливая теченіе, превращая его въ клочущій потокъ. И вдругъ рѣка исчезаетъ. Мрачно высятся скалы, печально и зловѣще шумятъ на нихъ деревья. Не бойтесь: еще нѣсколько усилій — и рѣка снова выйдетъ на свѣтъ Божій, сильная, свѣтлая, быстрая.

Конечно, сравненіе — не утѣшеніе; но развѣ на самомъ дѣлѣ незамѣтно усиленіе и углубленіе нашей личной и общественной мысли? Наши литературные противники по-своему признаютъ это: они утверждаютъ, что недавніе у насъ гуманные завѣты отвергнуты и забыты, что либерализмъ давно умеръ и погребенъ. Если бы такъ было въ дѣйствительности, то какая же была бы надобность изо дня въ день, изъ года въ годъ все хоронить похороненнаго, съ ненавистью, съ недобросовѣстностью набрасываться на побѣжденнаго, въ прахъ поверженнаго врага?

Нѣтъ, мы не умерли, даже не больны. Мы стараемся пристально вглядываться въ нашу народную жизнь, мы стремимся внести въ нее, въ мѣру нашихъ силъ, знаніе и справедливость, мы увѣрены въ томъ, что общественные порядки удесятворяютъ личныя силы въ одномъ случаѣ, расточаютъ ихъ понапрасну въ другомъ. Мы охотно готовы были бы поучиться и у метафизиковъ, и у реакціонеровъ. У нѣкоторыхъ метафизиковъ мы и учимся, что же касается нашихъ реакціонеровъ, то, быть можетъ, они и въ ротъ хмѣльнаго не берутъ, но говорятъ явно нелѣпыя и позорныя



вещи. Вотъ эти торжествующіе голоса, вотъ эта кофонія дѣйствительно можетъ иного слушателя поневолѣ привести въ уныніе, такъ какъ уйти отъ этой музыки некуда. Тутъ ужъ надо потерпѣть. Эти самые музыканты, — по крайней мѣрѣ, многіе изъ нихъ, — знавали и играли въ былое время настоящія мелодіи. По всей вѣроятности, они успѣютъ и еще разъ исполнить ихъ. Желать этого отнюдь, конечно, не слѣдуетъ: фальшивые голоса испортятъ самую художественную композицію. Пусть ужъ лучше допѣваютъ нынѣшнія пѣсни.



## Объ идеяхъ и поколѣніяхъ \*).

Авторъ одной изъ статей *Недѣли*, противъ которыхъ нѣсколько разъ высказывался мой глубокоуважаемый другъ, Н. В. Шелгуновъ, прислалъ въ редакцію *Русской Мысли* письмо съ нѣкоторыми разъясненіями по предмету спора. Къ сожалѣнію, разъясненія эти не показались мнѣ убѣдительными. Письмо я переслалъ автору *Очерковъ русской жизни*, но два самые важные пункта въ немъ отмѣчу. Г. В. Б., во-первыхъ, не признаетъ себя вполне солидарнымъ съ другими авторами статей *Недѣли* о преимуществахъ трезвенныхъ дѣтей передъ идеологами (выраженіе Наполеона I) отцами. Во-вторыхъ, г. В. Б. говоритъ слѣдующее: «Дѣти просто перенесли борьбу съ фактами съ теоретической, идейной почвы на практическую. Дѣтелямъ практическимъ само собою не такъ легко уже оставаться господами фактовъ. Они должны считаться съ ними и нерѣдко дѣлаться ихъ рабами. Прежнему высокомерному отношенію къ факту нѣтъ и не можетъ быть мѣста. Это оппортунизмъ, презрительно заявляетъ г. Шелгуновъ.

---

\*) *Волжскій Вѣстникъ*, 1890, 308.



Это дѣйствительно своего рода оппортунизмъ. Но какой же выходъ можно предположить современному поколѣнію изъ его положенія? Устроить келью подъ елью и самоуслаждаться теоретическимъ господствомъ надъ фактами?»

Кто говоритъ о *высокомѣрномъ* отношеніи къ фактамъ? факты необходимо понять и оцѣнить. При помощи чего?—Разумѣется при помощи идеи, теоріи. Это и значитъ *теоретически овладѣть фактами*. Если этого не сдѣлано, какъ же можно бороться съ фактами или хотъ идти на уступки, становиться оппортунистомъ? Во имя чего уступать, изъ чего уступать? При слабости теоретическаго идеала (про отсутствіе его и говорить нечего) только и можно сдѣлаться *рабомъ фактовъ*. Г. В. Б. заявляетъ, что современное поколѣніе перешло на практическую почву; а развѣ теоретики — отцы не на практической почвѣ осуществили освобожденіе крестьянъ съ землею, создали судъ гласный, судъ присяжныхъ и земскія учрежденія?

Самоуслаждаться теоретическимъ господствомъ надъ фактами, конечно, не похвально для общественнаго дѣятеля, но ужъ всего менѣе похвально, когда такой дѣятель становится *рабомъ фактовъ*. Сила соломѣ ломить, и благороднѣйшія стремленія разбиваются иной разъ о толстую стѣну невѣжества и своекорыстія. Галилей былъ *рабомъ факта*, когда его насильственно принудили отречься отъ ученія о томъ, что земля движается вокругъ солнца. «А все-таки она движется!»—воскликнулъ освободившійся духомъ отъ *факта* Галилей,—прибавляетъ преданіе. О такого рода рабствѣ передъ фактомъ говоритъ г. В. Б.? Вѣдь весь



смыслъ исторіи въ томъ именно и заключается, что  
человѣкъ освобождается все болѣе и болѣе отъ по-  
добнаго рода тягостной зависимости, что его мысль и  
совѣсть все больше и больше овладѣваютъ фактами,  
пересоздаютъ эти факты, выдвигаютъ совершенно но-  
выя ихъ сочетанія. Намъ глубоко печалитъ въ *совре-*  
*менномъ поколѣніи* значительное поникновеніе разума  
передъ дѣйствительностію, великихъ завѣтовъ луч-  
шихъ людей всего человѣчества передъ случайностями  
личной и общественной жизни. О какомъ *выходѣ* го-  
воритъ г. В. Б.? Положеніе людей сороковыхъ го-  
довъ было несравненно труднѣе и больнѣе положенія  
*современнаго поколѣнія*. Я нарочно подчеркиваю эти  
слова, принадлежащія г. В. Б., потому что принимаю  
ихъ въ узкомъ смыслѣ: въ дѣйствительности много  
молодыхъ людей стоитъ гораздо ближе къ намъ, ста-  
рикамъ, чѣмъ къ *дѣтямъ Недѣли*. Въ сороковые года  
именно и подготавливалась теоретиками, — только подго-  
товлялась, — та практическая почва, на которой люди  
слѣдующихъ поколѣній провели такъ много благодѣ-  
тельныхъ преобразованій. Въ шестидесятые года нѣ-  
которая (очень вліятельная) часть *теоретиковъ* зада-  
лась весьма широкими, во многихъ отношеніяхъ пре-  
красными и гуманными, но не всегда достаточно опре-  
дѣленными цѣлями, и вѣрила въ возможность ихъ  
чуть ли не мгновеннаго осуществленія. Нѣкоторыя изъ  
этихъ цѣлей оказались неправильными, для осуще-  
ствленія другихъ понадобятся десятки лѣтъ, а то и  
сотни. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Неужели при-  
глашеніе сократить свои убѣжденія до рабства передъ  
фактами, понизить свои идеалы до уровня дѣйстви-



тельности? А если не это, такъ о какомъ же *выходѣ* бѣдному *современному поколѣнію* можетъ идти рѣчь? Выходъ всегда былъ и останется одинъ и тотъ же:

За правое, прекрасное, земное  
Вести борьбу до истощенья силъ.

Бѣда въ томъ, что въ настоящее время, и не у насъ только, а и на Западѣ Европы, — временно, въ новыхъ поколѣніяхъ, ослабѣла вѣра въ разумъ человека. Опытъ показалъ, какъ вредно и опасно мудрить съ жизнью, съ одного маху перестраивать политическія учрежденія и предписывать новые законы неподготовленному къ нимъ обществу. Запуганная мысль и забѣжала въ рабство передъ фактами. А на самомъ дѣлѣ бояться нечего. Многовѣковый опытъ человечества, поразительный свѣтъ, который распространяетъ наука, предохраняютъ отъ безразсудныхъ попытокъ, но въ то же время высоко поднимаютъ насъ надъ дѣйствительностью, даютъ возможность окинуть взглядомъ и осмыслить всю пестроту многообразныхъ фактовъ, въ которыхъ раскинулась современная цивилизація. Только при этомъ условіи человекъ не заблудится въ этихъ фактахъ и не станетъ ихъ рабомъ.

Я сказалъ, что недовѣріе къ теоріи, къ идеѣ, къ разуму замѣчается въ настоящее время и на Западѣ Европы. Вотъ примѣръ. Читателямъ не безъизвѣстенъ одинъ изъ выдающихся современныхъ французскихъ критиковъ, Фаге. Одна его статья была переведена въ *Русской Мысли*. Недавно этотъ критикъ выступилъ противъ Вольтера. Эмиль Фаге находитъ Вольтера



несноснымъ болтуномъ... Анатолю Франсу замѣчаетъ по этому поводу въ *Temps*, что молодежь начинаетъ презрительно относиться къ XVIII вѣку, что она становится склонною къ мистицизму. «Эти молодые люди, — говоритъ симпатичный писатель, — у которыхъ нѣтъ недостатка ни въ серьезности, ни въ извѣстной умѣренности, меня удивляютъ». Они одушевлены патристическимъ чувствомъ, у нихъ хорошее сердце, но ихъ умъ всколебленъ. Анатолю Франсу приписываетъ этотъ печальный результатъ недостаткамъ французскаго образованія.

Эмиль Фаге видитъ въ XVIII столѣтіи значительное пониженіе нравственнаго чувства, вслѣдствіе чего понизилась и литература, и философія этого вѣка. «Вотъ какъ дѣти относятся къ отцамъ!» — грустно замѣчаетъ по этому поводу Анатолю Франсу.

Камилль Пельтанъ также выступилъ въ *Justice* противъ книги Фаге (*Le dixhuitième siècle*). Но въ статьѣ этого писателя нѣтъ и тѣни меланхоліи, она дышитъ справедливымъ негодованіемъ и глубокою вѣрой въ разумъ человѣка, прославленный Монтескье, Вольтеромъ, Дидро. «Il y a encore de beaux jours pour le galimatias dans notre pays!» восклицаетъ Пельтанъ. Нѣтъ сомнѣнія, что еще много прекрасныхъ дней для галиматіи и въ нашемъ отечествѣ. Такими днями были, на прим., воскресенья *Недѣли*, когда въ ней появлялись статьи г. Р. Д. о Салтыковѣ. Вотъ образчикъ: «Какъ политическій писатель, Салтыковъ весь въ отрицаніи. Онъ только подвергалъ осужденію и осмѣянію событія текущей политической и общественной жизни, не внося въ свои памфлеты и сатиру никакой



положительной и самостоятельной идеи, которая могла бы лечь въ основаніе какой-нибудь политической программы, могла бы создать какое нибудь направленіе, повліять какъ-либо на политическую жизнь страны»<sup>\*)</sup>). И г. Р. Д. глубокомысленно прибавляетъ, что въ этомъ отношеніи Салтыкова нельзя сравнивать, — съ кѣмъ бы вы думали? съ Макиавелли и Монтескьё! Но представьте себѣ, что этотъ прекрасный день *Недѣли* дополняется слѣдующимъ утвержденіемъ того же критика въ № 8 той же газеты: «Не любви учить Салтыковъ въ своихъ произведеніяхъ. По крайней мѣрѣ въ нихъ нѣтъ любви къ живому, настоящему человѣку, къ реальной жизни, совершающейся вокругъ него. Идеологи, поклонники чистыхъ, раціоналистическихъ построеній всегда непримиримые враги дѣйствительной, земной жизни и самые строгіе судьи человѣка. Салтыковъ былъ такимъ идеологомъ и отвлеченнымъ правдолюбцемъ и окружающая его русская дѣйствительность оказалась навсегда передъ нимъ виноватою за то, что въ ней не сбылись ожиданія того гармоническаго общежитія, которое построила его фантазія». Какъ же соединить въ одномъ и томъ же *критическомъ этюдѣ* утвержденіе, что Салтыковъ «весь въ отрицаніи» и въ то же время упрямый идеологъ? О, много, много еще прекрасныхъ дней для галиматии въ нашемъ отечествѣ!

*Недѣля* за статьи г. Р. Д. удостоилась совершенно заслуженныхъ ею похвалъ со стороны *Южнаго Края* и *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*. Но съ послѣднею

---

<sup>\*)</sup> *Недѣля*, № 10, 1892.



газетою можно спорить: она стоитъ на литературной почвѣ и повидимому вполне признаетъ основное условіе и достойной полемики, и правильнаго общественнаго развитія вообще, т.-е. необходимость свободнаго, безбоязненнаго выраженія убѣжденій каждаго. *С.-Петербург. Вѣдом.* однажды такъ высказались о значеніи печатнаго слова: «Въ наше время болѣе чѣмъ когда-нибудь литература и печать являются опорою государственной и національной силы. Тургеневъ и гр. Л. Н. Толстой сдѣлали для литературнаго значенія Россіи не менѣе чѣмъ инныя кровавыя и дорого стоившія побѣды русскаго оружія. Пренебреженіе литературными интересами мало отвѣчало бы государственной мудрости» \*). А главный интересъ для литературы и представляетъ упомянутая нами свобода мысли и творчества. Съ такими противниками, какъ *С.-Петербургскія Вѣдомости*, пріятно имѣть дѣло. А вотъ посмотрите на *Московскія Вѣдомости*: въ одномъ номерѣ онѣ умно и основательно осмѣиваютъ мещерскаго *Гражданина*, который отождествляетъ власть съ кулачнымъ правомъ, а въ другомъ номерѣ, захлебываясь отъ удовольствія, — эпитетъ къ которому подберетъ самъ читатель, — возвѣщаютъ, что либерализмъ въ Россіи побѣжденъ вслѣдствіе окрика: *цыцъ!* Чѣмъ это милое заявленіе лучше невѣжественныхъ выходокъ *Гражданина*?

Такое отношеніе къ мысли и совѣсти людей иного направленія со стороны названныхъ органовъ печати, разумѣется, фактъ; но неужели слѣдуетъ идти въ

---

\*) *С.-Петербургскія Вѣдомости*, № 22, 1892.



рабство этому факту, идти на уступки ему? Почтенный авторъ письма въ редакцію *Русской Мысли*, о которомъ я говорилъ въ началѣ своихъ замѣтокъ, правъ въ одномъ отношеніи: теоретически выработанный идеаль, — его безусловно необходимо выработать каждому общественному дѣятелю, — въ самомъ лучшемъ случаѣ не можетъ осуществиться сразу и вполнѣ. Предположимъ такую возможность. Для того, чтобы въ какомъ-нибудь уѣздѣ все населеніе было грамотнымъ, необходимо столько-то школъ. Но завести всѣ эти школы нѣтъ средствъ или, по крайней мѣрѣ, очень трудно. Ваши противники утверждаютъ, что школъ совсѣмъ не нужно. Естественнo, что вы присоединитесь къ предложенію, по которому откроется хоть десятая часть проектированныхъ вами школъ. Безъ такихъ уступокъ, безъ *такого* оппортюнизма практическое дѣло, дѣйствительно, рѣдко обходится. Но надо, однако, памятовать при этомъ, что фактами необходимо вполнѣ овладѣть теоретически, чтобъ имѣть возможность завоевывать ихъ практически. Личный опытъ каждаго изъ насъ ничтоженъ въ сравненіи съ тѣмъ сгущеннымъ опытомъ человѣчества, который называется наукою и теоріею. Этотъ личный опытъ имѣетъ большое, очень большое значеніе, — какъ личная мысль, какъ личное творчество, — именно въ связи съ историческимъ опытомъ и съ теоретическою мыслью. Поэтому-то *идеологъ*, — какъ, пародируя Наполеона I, называетъ *Недѣля* Салтыкова, — имѣетъ *практически*, въ общественномъ смыслѣ, неизмѣримо большее значеніе, чѣмъ самый безпечальный и самоуслаждающійся практикъ.



Наши мнимые охранители и знаменитое *современное поколѣніе* въ оцѣнкѣ произведеній Щедрина только на разные лады повторяютъ ту совершенно невѣрную мысль, которую высказалъ Д. И. Писаревъ, назвавшій сочиненія Салтыкова цвѣтами невиннаго юмора. Писаревъ предлагалъ нашему самому даровитому, самому опредѣленному сатирику заняться популяризацией естественныхъ наукъ, а *Недѣля* и лже-охранители сѣтуютъ на то, что Салтыковъ не былъ въ достаточной степени художникомъ, что онъ размѣнялся на памфлеты и фельетоны. На этомъ, впрочемъ, нѣтъ надобности останавливаться: послѣ критическаго опыта Н. К. Михайловскаго \*) и его статьи въ *Русской Мысли* вопросъ долженъ считаться окончательно разъясненнымъ.

И никто, какъ бы ни былъ тѣсенъ кругъ его практической дѣятельности, не долженъ отказываться отъ широкой теоретической мысли. Только она, эта мысль, красить дѣйствительность, спасаетъ въ долгое ненастье, даетъ силу переносить ту побѣду фактовъ, которую съ легкимъ сердцемъ привѣтствуютъ люди, подобные г. В. Б., люди несомнѣнно съ добрыми стремленіями и способные къ общепользному труду. Обманъ, пошлость, предательство могутъ охватить человека въ недобрый часъ. Онъ можетъ остаться въ тяжелую минуту одинокимъ, его лучшія вѣрованія, его раскрывшаяся душа могутъ подвергнуться жестокому издѣвательству; но царица-мысль не допуститъ паде-

---

\*) *Щедринъ*: „Критическій опытъ Н. К. Михайловскаго“, М. 1890.



нія такого человека, если онъ воспиталъ въ себѣ благоговѣйную преданность лучшимъ заветамъ нашихъ лучшихъ людей. А за измѣну этимъ заветамъ бываетъ страшное отмщеніе: угасаетъ талантъ, блѣднѣетъ и спутывается мысль, ожесточается и пустѣетъ сердце.

Я недавно съ грустнымъ чувствомъ перечелъ двѣ книжки одного писателя, который теперь ушелъ, далеко и безповоротно ушелъ, въ сторону съ прежняго пути. А прежній путь былъ такъ хорошъ... Вотъ въ какихъ выраженіяхъ говорилъ, напримѣръ, этотъ писатель объ одной тогдашней газетѣ: она «сегодня тиснетъ противъ земства и суда, — завтра скажетъ за земство и судъ; сегодня пропагандируетъ биржевую игру съ увлеченіемъ, — завтра воодушевляется противъ биржевой игры; — сегодня являетъ изъ себя коренного консерватора, — завтра — либерала; сегодня отвергаетъ улучшенія въ податной системѣ, — завтра ратуетъ за рабочій вопросъ и строго осуждаетъ дворянскія консервативныя затѣи. Одно въ ней постоянно: это — вы думаете, классицизмъ? — совсѣмъ нѣтъ: бонапартизмъ. И въ парижскомъ фельетонѣ, и въ парижской корреспонденціи она осмѣиваетъ установленіе республики, говоритъ о ней съ пѣной у рта и даже возстаетъ противъ доклада Савари, точно корреспонденты графа Сальяса получаютъ внушеніе отъ Руэра и точно *Спб. Вѣд.* — официальная газета этого господина».

Какая злая, проникнутая благороднымъ негодованіемъ, характеристика! Ее и теперь, съ маленькими измѣненіями, можно было бы приложить къ одной большой газетѣ. А знаете, читатель, кто авторъ вышепри-



веденныхъ строкъ? Талантливый фельетонистъ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*, когда ихъ редакторомъ былъ покойный В. Θ. Коршъ, нынѣшній издатель *Новаго Времени*, г. Суворинъ.

А вотъ какъ во время оно г. Суворинъ характеризовалъ Каткова: «Г. Катковъ, составляющій нѣчто среднее между Павломъ Кирсановымъ и Базаровымъ, — кирсановскіе *принципы* и базаровская рѣзкость, безъ его ума и остроумія, — г. Катковъ, говорю, тотчасъ понялъ, какого полета птица Базаровъ» \*). Много хорошаго говорилъ г. Суворинъ и въ *Письмахъ къ современникамъ*, говорилъ ярко, талантливо, убѣжденно. Умѣло защищалъ онъ права женщинъ на высшее образованіе, необходимость этого образованія. И куда все сіе дѣлось? Чѣмъ больше читалъ я старыя, хорошія книжки г. Суворина (онѣ изданы въ 1875 году), тѣмъ грустнѣе становилось у меня на душѣ...

Со многимъ въ статьяхъ бывшаго фельетониста *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* нельзя было согласиться, но почти все читалось съ интересомъ и было проникнуто бодрою мыслью, честнымъ чувствомъ. Любопытное замѣчаніе нашелъ я у этого писателя въ статьѣ *По поводу «Отцовъ и дѣтей»*: «у насъ, — писалъ г. Суворинъ, — собственно говоря, никакихъ нигилистовъ не было, а было то же, что бывало всегда, т.-е. молодое поколѣніе шло дальше отцовъ и предъявляло къ жизни большія требованія». Да, бывало, но не такъ теперь: *современное поколѣніе* не задается широкими идеями, оно заранѣе, спокойно, безъ горькихъ думъ,

---

\*, А. Суворинъ: „Очерки и картинки“, книга II, стр. 214.



безъ великодушныхъ порывовъ, обрекаетъ себя на приспособленіе къ фактамъ. А между тѣмъ:

„Блаженъ, кто смолodu былъ молодъ“.

Лично я, впрочемъ, смотрю на дѣло вовсе не такъ мрачно, какъ авторъ *Очерковъ русской жизни*. Во-первыхъ, *современное поколѣніе* отнюдь не все современное поколѣніе. Среди людей, которые съ теченіемъ времени смѣняютъ насъ въ литературѣ и жизни, большимъ вліяніемъ пользуются вовсе не тѣ писатели, которые ведутъ трезвенныя бесѣды въ *Недѣлю*, а именно ихъ противники, какъ Михайловскій, Успенскій, Шелгуновъ. Во-вторыхъ, кромѣ мужского *современнаго поколѣнія* у насъ есть еще женское, а оно то ужъ, конечно, не на сторонѣ *Недѣли*. Найдутся, безъ сомнѣнія, и *трезвенныя дочери*. Онѣ сумѣютъ подчинить свой умъ, свои чувства, свою совѣсть фактамъ *россійской дѣйствительности*, и пріобрѣтутъ поэтому полное право пренебрежительно относиться къ идеологамъ. Но не эти трезвенныя дочери составляютъ особенность, радость и надежду русскаго общества въ переживаемое нами время. Многимъ приходилось, конечно, встрѣчаться съ женщиной

„Безсильной счастье дать, безсильной быть счастливой“.

Но почему безсильной? Да именно потому, что она *теоретически не овладѣла фактами*. Цѣпкая рутина, безсмысленный фактъ держитъ ее въ своихъ мертвящихъ рукахъ. Она раба, въ полномъ смыслѣ раба, ее не унесетъ на своихъ крыльяхъ великодушное чувство и возвышенная мечта, ей мѣсто—на куриномъ насѣстѣ,



въ чадѣ и полутьмѣ театральныхъ кулисъ или въ *блескъ упоительномъ бала...*

Если бы тѣ идеи, которыя распространяетъ *Недѣля*, дѣйствительно могли овладѣть молодымъ поколѣніемъ, т.-е. его большинствомъ, такъ какъ въ немъ всегда найдутся разнородныя теченія мысли и чувства, то намъ, доживающимъ свой вѣкъ людямъ, пришлось бы невыносимо тяжело. Помните картину Ге, на которой нарисованъ Петръ Великій и его сынъ? Не буду говорить, все ли въ идеяхъ Петра было хорошо, — дѣло на этотъ разъ не въ исторіи. Великій человѣкъ всю свою жизнь, всю душу положилъ на преобразование. Но необходимо время, чтобы новая мысль окрѣпла и принесла плодъ; необходимо, чтобы слѣдующее поколѣніе отдалось этой мысли съ такою же преданностью, съ такою же энергіей. И вотъ передъ глазами Петра Великаго стоитъ, на картинѣ Ге, наследникъ престола, вялый, упрямый, неспособный. Онъ душою смотритъ назадъ, онъ рабъ факта, покорный слуга допетровской Руси. Что долженъ былъ испытывать такой отецъ при видѣ такого сына!..

Люди сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ, по счастью, не находились въ положеніи Петра Великаго, не находится въ такомъ положеніи и то поколѣніе, на смѣну котораго немножко преждевременно выступили публицисты *Недѣли*: вѣдь, мы еще оружія не складывали, да и не сложимъ, покуда не побѣдитъ насъ *фактъ*, т.-е. смерть. Но и этимъ фактомъ будетъ побѣжденъ только фактъ, — наше личное существованіе, а тѣ мысли, тѣ идеалы, которые мы отчасти унаслѣдовали, отчасти сами вырабатывали, — они



овладѣють дѣйствительностью, ихъ воплотятъ въ личныя и общественныя отношенія грядущія поколѣнія, сильныя мысляю, крѣпкія волей. Наше поколѣніе есть только звено въ длинной цѣпи смѣняющихся поколѣній. Наши идеалы, чтобы не заходить слишкомъ далеко въ исторію, ведутъ свое начало отъ Новикова и Радищева. Мы чувствуемъ себя вполне русскими людьми, но возстаемъ всѣми силами души противъ того пошлаго и наглаго самовозвеличенія, которое такъ близко къ самооплеванию, такъ противорѣчитъ истинному національному достоинству. Отъ народа мы нисколько не оторвались, но мы дѣйствительно оторвались и отъ *Домостроя*, и отъ *Управы благочинія*, отъ тѣхъ навыковъ и отъ того кругозора, который созданъ былъ крѣпостнымъ правомъ. Мы знаемъ, что *завтра* справедливость не водворится въ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ, но мы знаемъ также, что эта справедливость должна побѣдить, что безъ дружной работы во имя этой великой цѣли нѣтъ смысла въ нашемъ личномъ существованіи. Когда намъ говорятъ о постепенности, о законахъ историческаго развитія, мы слушаемъ внимательно и прибавляемъ одно: хорошія учрежденія не могутъ помѣшать людямъ жить хорошо, а дурныя не могутъ не мѣшать. Если вѣрная мысль засвѣтилась гдѣ-нибудь наверху, то необходимо сдѣлать ее поскорѣе общимъ достояніемъ. Кажется, въ этомъ взглядѣ нѣтъ ничего чрезвычайнаго. Думается, что глубокая вѣра въ хорошія свойства человеческой природы не находится въ противорѣчій съ истинными основами и устоями государственнаго строя. Наоборотъ, безъ этой вѣры самое общежитіе было бы



невозможно. Даже въ острогѣ нельзя не считаться съ нею. Побольше гуманности, побольше широкой мысли, поменьше преклоненія и приспособленія къ случайно господствующимъ фактамъ, — вотъ чего желаемъ мы молодому поколѣнію. Молодость должна быть синонимомъ великодушія, она должна отличаться высокимъ полетомъ мысли. Эти свойства лежатъ въ природѣ человѣка въ тотъ періодъ его жизни, когда расцвѣтають его духовныя силы. И съ полною увѣренностью скажемъ мы трезвеннымъ представителямъ *современнаго поколѣнія*: мы живѣе, мы моложе васъ духомъ, и не за вами, а за нами пойдетъ на самомъ дѣлѣ молодое поколѣніе.



## Литература и жизнь \*).

### I.

*Московскія Вѣдомости*, какъ извѣстно, стоятъ на стражѣ и неустанно оберегаютъ отечество отъ коварныхъ происковъ либераловъ. Средствами газета, — также всѣмъ извѣстно, — не стѣсняется. Но усердіе не всегда совпадаетъ съ искренностью и кое-какими иными душевными свойствами, и я не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести довольно любопытный образчикъ въ этомъ родѣ. Графъ Л. Н. Толстой напечаталъ въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*, наканунѣ «Татьянина дня», горячую статью, возстава въ ней противъ пьянства и разгула, которыми интеллигенція празднуетъ этотъ день. Въ статьѣ знаменитаго писателя было несомнѣнное преувеличеніе. Мнѣ, старому студенту, много лѣтъ приходилось проводить свѣтлый праздникъ Московскаго университета въ кругу товарищей, и ни разу у

---

\*) Подъ такимъ заглавіемъ я помѣщалъ въ *Русской Мысли* свои замѣтки, подписывая ихъ буквою Т. Впослѣдствіи такъ сталъ называть рядъ своихъ статей въ этомъ же журналѣ, а потомъ въ *Русскомъ Богатствѣ* Н. К. Михайловскій. Два отрывка заслуживали, по моему мнѣнію, перепечатки въ эту книжку.



насъ не было ничего подобного тому, противъ чего негодуешь графъ Толстой. *Русскія Вѣдомости* радушно приняли статью автора *Войны и мира*, которому такъ полюбилась и пришлась по характеру роль моралиста, но сдѣлали маленькую оговорку. Газета замѣтила, что за обѣдами 12 января идутъ повсемѣстно оживленные рѣчи, «высказывается рѣзкая правда устами тѣхъ, у кого они связаны въ другіе дни». Сейчасъ же Мальбруги *Московскихъ Вѣдомостей* отправились въ походъ, ехидничая насчетъ «столь дорогой *Русскимъ Вѣдомостямъ* либеральной болтовни».

*Московскія Вѣдомости* торжественно поднялись на высоту аскетическихъ требованій графа Толстого и демонстративно напечатали заявленіе какихъ-то *близко стоящихъ къ университету людей*, которые въ своемъ умственномъ багажѣ были совсѣмъ потрясены горячими словами Л. Н. Толстого и дали зарокъ отнынѣ 12 января пьяными не напиваться. Предназначенную было на сей предметъ сумму они отдали въ общество для вспомошествованія недостаточнымъ студентамъ.

Съ помощью этого... простодушнаго заявленія нѣкоторыхъ *близко стоящихъ къ университету людей* *Московск. Вѣдомости* взгромоздились, повторяемъ, на головокружительную нравственную высоту, и все для того, чтобы посрамить либераловъ.

Это было напечатано 12 января. А на другой день въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появилось на видномъ мѣстѣ, сейчасъ же за передовою статьей, извѣстіе объ обѣдѣ бывшихъ воспитанниковъ лица Цесаревича Николая по случаю двадцать первой годовщины этого учебнаго заведенія. За обѣдомъ было провозглашено



много тостовъ, получены и посланы различныя привѣтствія.

Какъ же это однако? Неужели бывшіе лицеисты пили не вино? Или *Московскія Вѣдомости* полагаютъ, что безнравственное для либераловъ является совсѣмъ подходящимъ и безукоризненнымъ для консерваторовъ, какими, вѣроятно, бываютъ воспитанники лицея? Очень странно, если только первая замѣтка *Московскихъ Вѣдомостей* написана не родственникомъ по духу знаменитаго мольеровскаго героя.

Фальшь выходки *Московскихъ Вѣдомостей* по адресу *Русскихъ Вѣдомостей* бьетъ въ глаза. Но вновь поднятый графомъ Л. Н. Толстымъ вопросъ вызвалъ довольно оживленные толки и повелъ, такъ сказать, къ пересмотру общаго вопроса объ отношеніяхъ между интеллигенціей и народомъ. Для меня въ статьѣ Л. Н. Толстого дорого косвенное признаніе пользы тѣхъ заботъ о просвѣщеніи народа, которыя выражаются въ устройствѣ музеевъ, публичныхъ чтеній и т. п. Правда, строгій моралистъ находитъ, что вредъ, который происходитъ отъ зрѣлища пьянства и разгула интеллигентныхъ людей, перевѣшиваетъ пользу всѣхъ подобныхъ учрежденій. Но, какъ я замѣтилъ выше, графъ Л. Н. Толстой сильно, очень сильно преувеличиваетъ темныя стороны товарищескихъ обѣдовъ въ Татьянинъ день и совсѣмъ упускаетъ изъ вида ихъ свѣтлыя стороны. Глубокое чувство правды, которое характеризуетъ произведенія великаго писателя, и его страстно стремящаяся къ истинѣ мысль даютъ надежду, что Л. Н. Толстой не убоится признать своихъ ошибокъ, что онъ дастъ еще намъ много добраго и, быть



можетъ, окажетъ не малое вліяніе на распространеніе въ нашемъ обществѣ разумныхъ взглядовъ на личныя и общественныя отношенія. Недостаточность исключительно индивидуальной точки зрѣнія въ вопросахъ нравственности и общежитія не можетъ долго укрываться отъ сильнаго и пытливаго ума.

Если до графа Толстого дойдетъ извѣстіе объ обѣдѣ бывшихъ студентовъ Петербургскаго университета, онъ, по всей вѣроятности, самъ признаетъ, что подобныя торжества на заслуживаютъ осужденія, что они заключаютъ въ себя глубокой нравственный смыслъ. Петербургскій большой обѣдъ прошелъ, по извѣстіямъ мѣстныхъ газетъ, съ особеннымъ одушевленіемъ. Горячія оваціи выпали на долю бывшаго ректора университета Андреевскаго, и бывшихъ профессоровъ О. Θ. Миллера и П. Г. Рѣдкина \*). Овація послѣднему изъ названныхъ ученыхъ, нынѣ члену государственнаго совѣта, была вызвана появленіемъ его книги \*\*). Книга посвящена слушателямъ П. Г. Рѣдкина въ Московскомъ и Петербургскомъ университетахъ. Эпиграфомъ къ своему труду восьмидесятилѣтній авторъ избралъ русскую поговорку: *все минется, одна правда остается*.

Та горячая преданность наукѣ, которую обнаруживаетъ знаменитый профессоръ, та глубокая вѣра въ торжество добра и разума, которою проникнуты слова честно и долго порабатывающаго старца, производятъ,

---

\*) Теперь всѣ трое уже скончались.

\*\*) Изъ лекцій заслуженнаго профессора, доктора правъ П. Г. Рѣдкина по исторіи философіи права, въ связи съ исторіей философіи. Спб., 1889 г. Томъ первый.



въ особенности въ наши унылые дни, поистинѣ освѣ-  
жающее и возвышающее душу впечатлѣніе. Вотъ но-  
вый примѣръ для нашей учащейся молодежи, — при-  
мѣръ неустаннаго и безкорыстнаго труда и неслабѣющей  
любви къ ряду смѣнявшихся молодыхъ поколѣній.

Во вступительной лекціи къ курсу 1871 — 72 года  
П. Г. Рѣдкинъ говорилъ слѣдующее: «Если мы вду-  
маемся въ значеніе годовъ, проводимыхъ студентами  
въ университетѣ, въ жизненную задачу ихъ, един-  
ственную въ своемъ родѣ, то мы не можемъ не при-  
знать этого короткаго періода человѣческой жизни за  
самый счастливый въ сравненіи съ остальнымъ време-  
немъ, ибо здѣсь передъ вами то призваніе, которое  
не начинается никакимъ принужденіемъ и которое,  
дѣйствительно, осуществляется только тогда, когда вы  
сами полюбите это призваніе, а предметъ этого призва-  
нія—одинъ изъ лучшихъ и благороднѣйшихъ предме-  
товъ, какіе только входятъ въ составъ человѣческой  
жизни и дѣятельности: это—наука, знаніе, дѣлающія  
человѣка могущимъ, какъ ни одно изъ всѣхъ прочихъ  
благъ міра. Вы вспомните, надѣюсь, эти слова мои,  
когда, въ буряхъ жизни, за этими мирными стѣнами,  
вы невольно повторите за мною полныя глубокаго  
смысла слова поэта-философа Гете: «So gieb mir die  
Zeiten wieder da ich noch selbst in werden war» \*).

Въ другой вступительной лекціи П. Г. Рѣдкинъ го-  
ворилъ слушателямъ: «Одностороненъ тотъ взглядъ  
на науку и на университеты, который ведетъ къ отчу-  
жденію науки отъ жизни и жизни отъ науки, послѣд-

---

\*) „Возвратите мнѣ то время, когда я самъ еще развивался!“



ствіемъ чего бываетъ, какъ свидѣтельствуется исторія, что наука превращается въ абстрактныя метафизическія бредни, мечтанія или соціальныя и политическія химеры, а общественная и государственная практическая жизнь, дѣятельность—въ бездушную, бессмысленную рутину, которая, не двигая общества и государства впередъ, тѣмъ отодвигаетъ ихъ собственно назадъ до такой степени, что они очутятся, наконецъ, отсталыми отъ прочихъ прогрессивныхъ народовъ, такъ что становится уже весьма труднымъ, даже сомнительнымъ, если не невозможнымъ, догнать ихъ на пути развитія, а тѣмъ менѣе опосредить ихъ».

«Истинный юристъ,—говорилъ съ кафедры Рѣдкинъ,—долженъ всегда, вездѣ и во всемъ проводить въ жизнь правду и справедливость. Но для этого онъ долженъ все болѣе и болѣе возвышаться до яснаго, полнаго, отчетливаго и связнаго сознанія правды и справедливости; это сознаніе и есть истинно-научное правосознаніе». Рѣдкинъ горячо и основательно вооружается противъ стремленія сузить составъ преподаванія на юридическихъ факультетахъ, противъ попытокъ превратить ихъ въ юридическія школы и тѣмъ нарушить основную цѣль существованія именно *университетовъ*. Профессоръ настаиваетъ на живой и неразрывной связи юридическихъ наукъ въ тѣсномъ смыслѣ слова съ философіей и со всѣми общественными науками и называетъ предметъ своего преподаванія—*энциклопедіей юридическихъ, соціальныхъ и политическихъ наукъ*.

Отъ новой книги ученаго юриста непосредственный переходъ къ новому изданію сочиненій Г. И. Успен-



скаго можетъ поразить своею неожиданностью. Но, какъ увидить читатель, и тамъ будетъ рѣчь о правдѣ и правѣ, о совѣсти и чести, и наша бесѣда только подтвердитъ лишній разъ существованіе той живой связи между наукой и жизнью, на которую постоянно указывалъ въ своей профессорской дѣятельности П. Г. Рѣдкинъ.

Новое изданіе *Сочиненій Глѣба Успенскаго* заключаетъ въ себѣ вступительную статью Н. К. Михайловскаго, который даетъ общую литературную характеристику автора *Нравовъ Растеряевой улицы*. На нѣкоторыхъ мысляхъ, развиваемыхъ въ этой статьѣ, я и остановлю вниманіе читателей.

«Успенскій, — говоритъ г. Михайловскій, — началъ свою литературную дѣятельность отрывками и обрывками, и не только не отдѣлался отъ этой юношеской манеры, но съ теченіемъ времени точно укрѣпился въ сознаніи законности и необходимости этого рода литературы». Критикъ полагаетъ, что читатель находится въ относительномъ проигрышѣ, «когда ему предлагается смѣшеніе публицистики съ беллетристикой въ тѣхъ пропорціяхъ, какія усвоилъ себѣ въ послѣднее время Г. И. Успенскій. Назначеніе логическаго анализа — разрѣзать, расчленять живыя явленія, назначеніе поэтическаго творчества, напротивъ, воссоздавать ихъ именно въ ихъ живой цѣльности. Оба эти процесса могутъ имѣть мѣсто въ головѣ одного и того же богато одареннаго писателя, но въ исполненіи на бумагѣ, въ одномъ и томъ же произведеніи, имъ очень трудно ужиться рядомъ, не нанося другъ другу ущерба». Г. Михайловскій полагаетъ, что въ



данномъ случаѣ нѣтъ никакой преднамѣренности: «просто такъ выходитъ, такъ пишется, полоса такая нашла». И критикъ желаетъ добраться до подкладки этой полосы, разъяснить это очень важное явленіе.

Внѣшнія условія съ первыхъ шаговъ литературной дѣятельности Г. И. Успенскаго принуждали его писать отрывками. Другая категорія этихъ внѣшнихъ условій дѣлала изъ его отрывковъ уже совершенные обрывки. Но г. Михайловскій не думаетъ этимъ все объяснить въ характерѣ литературной дѣятельности Г. И. Успенскаго. Онъ указываетъ на необыкновенную сжатость и содержательность произведеній Успенскаго, который совсѣмъ изгналъ изъ своихъ беллетристическихъ произведеній пейзажъ и сосредоточиваетъ свое вниманіе только на существенномъ и главномъ. Это придаетъ, конечно, извѣстную силу образамъ Успенскаго, «но понятно также, что художественная воздержанность, доведенная до степени аскетизма, должна имѣть не малую роль въ отрывочности и незаконченности его писаній».

Быть можетъ, это и такъ, но для меня неясно, почему аскетическая воздержанность, о которой говорить г. Михайловскій, влечетъ за собою отрывочность и незаконченность. Я понимаю, что при указанномъ свойствѣ дарованія Г. И. Успенскаго произведенія его будутъ кратки, но не вижу достаточнаго основанія находить въ этомъ свойствѣ причину ихъ незаконченности въ художественномъ отношеніи. Критикъ говоритъ далѣе: «Всякую архитектурную стройность Успенскій всегда готовъ заложить на алтарь занимающей его мысли. Ему не дорога никакая худо-



жественная подробность, если она не ведетъ прямо къ цѣли; онъ безъ всякой жалости на нее наступитъ, смажетъ ее и сдѣлаетъ это такимъ пріемомъ, какой попадется подъ руку: просто умолчить или обойдетъ словами *отъ себя*, публицистическою экскурсіей».

Эта аргументація не убѣждаетъ меня. Условимся, что называть *короче*. Несомнѣнно, что *архитектурная стройность* для читателя *короче публицистической экскурсіи*: однимъ образомъ, двумя-тремя художественными штрихами писатель-беллетристъ ярче и сильнѣе повліяетъ, чѣмъ публицистическимъ отступленіемъ. Для самого художника написать такое отступленіе, во многихъ случаяхъ, можетъ быть *короче*, чѣмъ создать образъ. Сказать отъ души нѣсколько словъ по горячо занимающему его въ данный моментъ вопросу въ состояніи каждый писатель. Образы создаются не по произволу, — они являются результатомъ иной разъ быстрого, иной разъ медленнаго процесса, въ которомъ стройно, органически соединились и наблюденія, и размышленія, и фантазія художника. Г. Михайловскій пишетъ, что онъ никогда не пытался предложить Успенскому подождать печатать свое произведеніе, которое иногда, по мѣрѣ работы, клочками отправлялось въ типографію. «Я зналъ, — говоритъ критикъ, — что это было бы совершенно бесполезно, потому что не можетъ онъ, органически не можетъ, что называется, *вынашивать* свои произведенія и *обстаивать* ихъ. Они льются изъ него, какъ жидкость изъ переполненнаго сосуда. Льются необработанныя, но съ явственными слѣдами породившей ихъ жизни. Я не говорю, — прибавляетъ г. Михайловскій, — что это хо-



рошо или худо,—я говорю только, что такъ есть. И въ этомъ заключается послѣдняя и, можетъ быть, самая важная причина своеобразной формы писаній Успенскаго, всѣхъ этихъ отрывковъ и обрывковъ, вдоль и поперекъ изрѣзанныхъ публицистикой».

Мнѣ кажется, что въ этомъ мнѣніи г. Михайловскаго заключается, если не ошибка, то, во всякомъ случаѣ, сильное преувеличеніе. Гл. И. Успенскій, по мѣткому замѣчанію его критика, дѣйствительно, не пишетъ, не *сочиняетъ*, а живетъ съ перомъ въ рукѣ. Но, думается мнѣ, все же печальна необходимость немедленно печатать написанное хотя бы и *кровью сердца и сокомъ нервовъ*. Гл. И. Успенскій *можетъ* подвергать обработкѣ свои произведенія: такъ, очерки, первоначально появившіеся въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*, были значительно переработаны для *Русской Мысли* и много выиграли именно въ сжатости и стройности. Да это и не единственный случай. Изъ наброска от-лично задуманнаго разсказа, который такъ наброскомъ и появился въ печати, Гл. И. Успенскій нѣсколько разъ впослѣдствіи создавалъ гораздо болѣе законченную и художественную вещь.

Я искренно сожалею, что высокодаровитый художникъ не далъ русской литературѣ *архитектурно-стройнаго* произведенія. Я рѣшительно ничего не имѣю противъ смѣшенія беллетристики съ публицистикой. Тѣ честныя мысли, то страстное исканіе правды, которыя характеризуютъ сочиненія Гл. И. Успенскаго, станоятся доступны, благодаря такому смѣшенію, обширному кругу читателей и будятъ въ нихъ не одни *мысли*, но и чувства. Много у насъ писали, напри-



мѣръ, о переселенцахъ въ Сибирь, много толковали о нихъ въ обществѣ. Но вотъ написалъ Гл. И. Успенскій горячій фельетонъ въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*, и на помощь переселенцамъ явились пожертвованія (хотя и небольшія, — русское общество не скоро раскачаешь). Въ этомъ отношеніи заслуги Гл. И. Успенскаго несомнѣнны и велики. Но еслибъ онъ подарилъ намъ произведеніе съ стройнымъ замысломъ, съ гармоничнымъ сочетаніемъ частей, съ яркими образами, на которые онъ такой мастеръ, то и наша къ нему благодарность, и литературное значеніе одного изъ любимыхъ русскихъ писателей возросли бы еще болѣе.

Это, конечно, не требованіе критика, а желаніе читателя, за которое да проститъ мнѣ Гл. И. Успенскій. Ему до сихъ поръ, по винѣ многихъ условій, не доставало художественной концепціи. Вотъ и хотѣлось бы, чтобы хоть теперь настала другая пора, чтобы на ряду съ текущею работою, съ горячими и глубоко симпатичными откликами на горе и радость нашей жизни создавались у Гл. И. Успенскаго и произведенія, въ которыхъ вполнѣ выразилось бы его огромное художественное дарованіе.

Г. Михайловскій проводитъ въ своей статьѣ очень оригинальную и замѣчательную мысль, и проводитъ съ не менѣе замѣчательнымъ талантомъ: «Общій принципъ, — говоритъ критикъ, — къ которому могутъ быть сведены всѣ волненія Успенскаго, есть принципъ гармоніи, равновѣсія». Онъ страдаетъ отъ нарушенія этой гармоніи и неустанно стремится къ ней. За обстоятельнымъ доказательствомъ этой мысли я отсылаю читателя къ статьѣ г. Михайловскаго, — статьѣ, которая



проливаетъ яркій свѣтъ на литературную дѣятельность Гл. И. Успенскаго и принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ нашей критики. Я останавлиюсь на другой мысли этой мастерской литературной характеристики. «Мысль и чувство, — говоритъ г. Михайловскій, — безжалостно и неподкупно сверлящія душу, принимаютъ для Успенскаго почти исключительно форму совѣсти, то-есть сознанія виновности и жажды соотвѣтственнаго искупленія и покаянія». Препятствія для этой работы совѣсти могутъ быть только внутренними: внѣшнія условія на такой психическій процессъ не вліяютъ; для кающагося человѣка, пожалуй, чѣмъ хуже жизненная обстановка, тѣмъ лучше, — тѣмъ больше онъ пострадаетъ и тѣмъ скорѣе очистится этими страданіями отъ собственной скверны. Но коррективомъ работы совѣсти должна быть работа чести. Честь требуетъ расширенія личной жизни и потому не мирится съ оскорбленіями и бичеваніями. «Работѣ совѣсти соотвѣтствуютъ обязанности, работѣ чести — права». Эту мысль г. Михайловскаго нельзя не признать особенно плодотворною именно для нашего общества, въ которомъ еще такъ мало *работы чести*.

Нельзя не отмѣтить съ особеннымъ удовольствіемъ и того, что статья г. Михайловскаго напечатана какъ введенеіе именно къ новому изданію г. Павленкова. Сочиненія Гл. И. Успенскаго, благодаря этому изданію, получили широкое распространеніе, и Гл. И. Успенскій, такимъ образомъ, *пошелъ въ народъ*. Вотъ открытый для сильнаго дарованія и пытливой мысли путь для сближенія интеллигенціи съ народомъ, — иными словами, для поднятія умственнаго и нравственнаго уровня



рабочихъ слоевъ населенія вообще, крестьянскаго люда въ особенности. Честныя мысли и добрыя чувства, которыя несутъ за собою талантливый писатель, широкою волной будутъ вливаться черезъ сельскаго учителя, черезъ cadaго образованнаго челоѣка, близкаго къ народу, въ глубину народнаго міропониманія и облегчатъ самостоятельную работу народной мысли. Народъ нашъ не только не чуждается европейскаго просвѣщенія, но, наоборотъ, все сильнѣе и настойчивѣе стремится къ нему. Народные запросы растутъ, пониманіе личныхъ и общественныхъ задачъ развивается, и добросовѣстное изученіе въ этомъ отношеніи приводитъ къ самымъ утѣшительнымъ результатамъ. Образчикомъ этого изученія можетъ послужить второй томъ извѣстнаго критическаго указателя книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія — *Что читать народу?* Вопросы историческіе и экономическіе, данныя наукъ естественныхъ и общественныхъ вызываютъ все большій и большій интересъ въ воспріимчивой народной средѣ. Крестьяне начинаютъ говорить (составительницы названной прекрасной книги имѣли дѣло съ населеніемъ Харьковской губерніи) такія рѣчи: «Люди зъ книжокъ, а книжки зъ людей, такъ воно одно за одно и чипляется»; «yse почерпается зъ книжокъ»; «зъ грамати yсі новости пішли»; «книжки указують путь». При чтеніи *Бесѣдъ о законахъ и порядкахъ* С. Горянскоі \*) еще разъ обнаружилось, какъ много терпятъ крестьяне отъ незнанія законовъ. Одинъ какой-то скептикъ, — читаемъ мы въ изданіи харьков-

\*) Книжка издана подъ редакціей г. Абрамова.



скихъ учительницъ, — замѣтилъ иронически: «намъ не бійсь пишутъ законы, а якбижъ начальникамъ писали!»

Составительницы сборника справедливо замѣчаютъ, что, «распространяя въ народѣ здравыя экономическія понятія, нужно быть крайне осторожнымъ, чтобы не прививать такихъ мнѣній и не возбуждать такихъ чувствъ, которыя могутъ лишь разлагать лучшіе обычаи и учрежденія народа». Затѣмъ слѣдуетъ лестный отзывъ объ изданной редакціею *Русской Мысли* брошюркѣ *Что такое подати и для чего ихъ собираютъ?* Крестьяне, оказывается, относятся къ этой книжкѣ съ большимъ интересомъ и пониманіемъ. Долженъ сознаться, — книжечка написана мною, — ни одинъ литературный успѣхъ, ни одинъ добрый отзывъ не былъ мнѣ такъ дорогъ, какъ то мнѣніе, которое высказываетъ о моей первой въ этомъ родѣ попыткѣ харьковскій указатель, основываясь на отзывахъ крестьянъ. Постараюсь исполнить совѣтъ, данный въ этомъ отзывѣ, т.-е. составлю еще нѣсколько книжечекъ по основнымъ вопросамъ общественныхъ наукъ. Мнѣ особенно отрадно видѣть, что на дѣлѣ оправдался мой взглядъ, который часто приходилось мнѣ защищать: не мудрствуйте лукаво, идите къ народу честно и просто, опираясь на строгую науку, на тѣ основы права и нравственности, которыя выработаны европейскимъ просвѣщеніемъ. Народъ не можетъ не понять васъ и не признать за вами правды, когда она въ дѣйствительности за вами. Говорите ясно, не подлаживаясь подъ мнимо-народный складъ рѣчи, ибо языкъ Пушкина, языкъ Гоголя именно и есть русскій языкъ. Такое отношеніе къ народу одинаково далеко какъ



отъ слащаваго и нелѣпаго превознесенія этого народа надъ интеллигенціей, такъ и отъ тѣни высокомернаго и пренебрежительнаго отношенія къ общественнымъ классамъ, которые, въ силу горькихъ историческихъ условій, только что выбираютъ на столбовую дорогу образованія и благосостоянія. По этому поводу слѣдуетъ отвѣтить на упрекъ, съ которымъ обращался въ *Новостяхъ* къ *Русской Мысли* г. Скабичевскій. Почтенный критикъ говоритъ, что этотъ журналъ «на каждой своей страницѣ, во всѣхъ своихъ углахъ, очень энергически и дѣльно ратуетъ противъ всякаго рода азіатской односторонности, нетерпимости и изувѣрства разныхъ нашихъ новѣйшихъ народниковъ, толстовцевъ и т. п.» И вдругъ, прибавляетъ г. Скабичевскій, въ этомъ журналѣ мы встрѣчаемъ повѣсть Каронина: *На границахъ челоѣка*. Единственная цѣль автора, по мнѣнію критика, заключалась въ томъ, «чтобы рассказать интеллигентнаго челоѣка, который осмѣливается благородными искусствами заниматься въ то время, когда возлѣ него голодные и нагіе люди живутъ въ земляныхъ норахъ, какъ звѣри».

Мы не знаемъ, конечно, такова ли была цѣль автора названнаго разсказа. Во всякомъ случаѣ, не за эту мысль стояла редакція *Русской Мысли*. Другой критикъ иначе понялъ «естественно-историческій очеркъ» г. Каронина. Г. Ар. говоритъ въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*: «Разсказъ Каронина мало художественъ: не образами говоритъ онъ, — вы не видите тутъ ни бѣдняковъ-золоторотцевъ настоящимъ образомъ, ни Зернова и т. д. Но глубокое чувство автора сообщается и читателю. Авторъ называетъ свой разсказъ не соціоло-



гическимъ и не этнографическимъ, а *естественно-историческимъ очеркомъ*, не рискуя поставить своихъ золоторотцевъ въ ряды человѣчества. Горькая иронія, подготовленная жизнью самой...!»

Вотъ какъ различны отзывы критиковъ. Различны, по всей вѣроятности, и мнѣнія читателей *Русской Мысли* о рассказѣ Каронина. Но, кажется мнѣ, самое разнообразіе этихъ отзывовъ указываетъ на то, что редакція журнала не сдѣлала ошибки, не отступила отъ своего направленія, напечатавши *На границѣ человѣка*. Я согласенъ съ г. Скабичевскимъ, что пріемъ Каронина—пріемъ опасный и что на этомъ пути можно дойти до неправильныхъ и вредныхъ выводовъ. Но и г. Скабичевскій, я думаю, согласится со мною, что проблемы современной цивилизаціи очень трудны и сложны, что, всею душой отстаивая европейское просвѣщеніе, необходимо чутко и сострадательно прислушиваться къ тому, что творится въ глубинѣ народной жизни. Для дѣйствительнаго таланта, для серьезнаго ума нѣтъ задачи, которая была бы плодотворнѣе труда въ области знанія и искусства; но дилетантовъ не мѣшаетъ подводить «къ границѣ человѣка» и указывать имъ, что тамъ творится. Кто выдержитъ это испытаніе, кто останется писателемъ (какъ Каронинъ), тотъ, слѣдовательно, не можетъ ни на минуту сомнѣваться въ благословенномъ значеніи для народа и художниковъ, и ученыхъ. Передъ великими задачами, которыя встаютъ для современнаго человѣчества, малъ и незначителенъ отдѣльный человѣкъ, если даже онъ отмѣченъ печатью генія; но нѣтъ общественной задачи, которая была бы непосильна



для великаго собирательнаго цѣлаго—для просвѣщеннаго народа. Именно *просвѣщеннаю*, потому что одними добрыми чувствами да хорошими инстинктами не одолѣешь стихійныхъ бѣдствій, не подчинишь служенію человѣчнымъ цѣлямъ силъ природы, не установишь разумныхъ и справедливыхъ общественныхъ отношеній.

## II.

Я думаю, что нигдѣ въ Европѣ не происходитъ такъ часто подобнаго рода явленій: живетъ человѣкъ, работаетъ, не покладая рукъ, честно, настойчиво, съ большимъ умомъ и талантомъ. Никто этихъ его свойствъ не оспариваетъ, но только немногіе друзья и сравнительно незначительная часть образованнаго общества со вниманіемъ и любовью слѣдятъ за литературно-общественнымъ дѣятелемъ. Но вотъ умираетъ этотъ дѣятель, и повсюду раздаются непритворныя сожалѣнія, всѣ вспоминаютъ о заслугахъ покойнаго и горюютъ о томъ, что преждевременно пресѣклась его плодотворная жизнь. Конечно, это очень хорошо, это добрый признакъ. Человѣкъ, отдавшій долгіе годы тяжелаго труда на пользу общую, можетъ утѣшаться мыслью, что смерть его дастъ новый толчокъ общественному самосознанію, что изъ совокупности такихъ толчковъ должно образоваться сильное и непрерывное движеніе... Но если въ душу скромнаго, беззавѣтно преданнаго своимъ идеаламъ человѣка закрадется сомнѣніе, если онъ заподозритъ общество въ равнодушіи, въ неспособности оцѣнить истинныя заслуги, о которыхъ не разносится по вѣтру реклама, которая



не сопровождалось внѣшнимъ признаніемъ и успѣхомъ такъ называемой карьеры? Можно представить себѣ случай, когда такого рода труженикъ не приходитъ въ восторгъ, предвидя свои пышныя похороны и горе людей, его знавшихъ. Иной, быть можетъ, испытываетъ то же, что испытывалъ извѣстный писатель, котораго устрашала возможность блестящаго успѣха его смерти. Я боюсь, — говорилъ онъ, —

Чтобъ все, чего желалъ такъ жадно,  
И такъ напрасно я живой,  
Не улыбнулось мнѣ отрадно  
Надъ гробовой моей доской.

Эти мысли пришли мнѣ въ голову по поводу кончины одного изъ лучшихъ нашихъ литературно-общественныхъ дѣятелей, одного изъ умнѣйшихъ и даровитѣйшихъ нашихъ педагоговъ, Владиміра Яковлевича Стоюнина. Похоронили его хорошо, почетно. Искреннее сожалѣніе и глубокое горе окружали его гробъ. Его могила долго не будетъ забыта. А все же...

Владиміръ Яковлевичъ былъ воспитателемъ-гуманистомъ. Его ученицы и ученики сохраняли и навсегда сохранять о немъ благоговѣйную память. Онъ пробуждалъ въ нихъ пытлиность ума, живую душу и бережно укрѣплялъ самостоятельность честной мысли и добрыхъ стремленій. *Человѣкъ онъ былъ...* Пишу не по личнымъ воспоминаніямъ (я не зналъ Стоюнина), а по впечатлѣніямъ отъ разсказовъ людей, близкихъ покойному Владиміру Яковлевичу. Напомнить о педагогическихъ взглядахъ этого глубоко симпатичнаго писателя я считаю своею обязанностью: вѣдь, одна изъ главныхъ нашихъ бѣдъ и заключается въ неудовлетворительномъ



воспитаніи, недостатки котораго рѣдко кто понималъ такъ ясно, какъ Стоюнинъ.

Что должно быть положено въ основу общаго образованія, что должно считаться главнымъ предметомъ преподаванія въ средней школѣ, когда достигается юношескій возрастъ, когда формируется будущій человекъ и гражданинъ? По нашему мнѣнію — родной языкъ, родная литература. Талантливый учитель произведетъ преподаваніемъ литературы неизгладимое впечатлѣніе, вызоветъ всѣ добрыя силы въ душѣ ребенка и юноши и подготовитъ имъ побѣду въ жизненной борьбѣ. «Каждый преподаватель, — говоритъ Стоюнинъ \*), — долженъ найти въ своемъ учебномъ предметѣ три живыя силы, которыя бы благотѣтельно дѣйствовали на учащихся: 1) онъ долженъ сообщать имъ истинныя познанія, касающіяся природы и человека, 2) развивать ихъ и 3) приучать къ труду. Матеріаль, передача и воспринятіе его и разумная работа надъ нимъ — вотъ тѣ три силы, которыя должны соединиться въ преподаваніи, чтобы дать ему педагогическое или воспитательное значеніе».

«Главная задача преподаванія словесности, — продолжаетъ Стоюнинъ, — заключается въ бесѣдѣ съ учениками о прочитанномъ сочиненіи, въ основательномъ его разборѣ и въ домашнихъ письменныхъ работахъ надъ нимъ. Каждое истинно-эстетическое произведеніе отражаетъ въ себѣ жизнь, дѣйствительность, съ которою связывается много нравственныхъ, общественныхъ и другихъ вопросовъ. Разбирая такое произве-

---

\*) О преподаваніи русской литературы.



деніе, мы необходимо должны подробно обсудить его содержаніе, безъ чего невозможна даже и одна эстетическая оцѣнка, слѣдственно, должны имѣть дѣло съ разнообразными вопросами жизни, коснемся ли разбора фактовъ или личностей и ихъ характеровъ, или отношенія ихъ между собою, или идеаловъ самого поэта, будемъ ли разсматривать основную его идею, отношеніе его къ дѣйствительности, или его поэтическое міросозерцаніе,—все будетъ наводить насъ на вопросы близкіе и интересные каждому, вопросы житейскіе, а съ ними вмѣстѣ будутъ разъясняться и самыя понятія — нравственныя, семейныя, общественныя понятія, которыя у учениковъ обыкновенно бываютъ слишкомъ туманны, неопредѣленны и сбивчивы, такъ какъ имъ рѣдко приходится задумываться надъ ними. Въ этомъ туманѣ они нерѣдко остаются и по выходѣ изъ школы, а иной и всю жизнь».

Вотъ какъ высоко ставилъ Стоюнинъ призваніе средней школы, вотъ какъ правильно и глубоко понималъ онъ задачи общаго образованія. При разборѣ cadaго литературно-историческаго памятника Стоюнинъ требуетъ, чтобы главное вниманіе было обращено на элементъ общечеловѣческій въ связи съ національнымъ и личнымъ. Стремленія къ истинѣ и добру, къ укрѣпленію общественныхъ отношеній на основѣ справедливости растутъ и видоизмѣняются въ исторіи. Нечего и говорить, что именно этимъ идеальнымъ стремленіямъ Стоюнинъ придаетъ первенствующее значеніе. Чѣмъ рѣже бываетъ смѣна идеаловъ, тѣмъ больше, полагаетъ онъ, застою замѣчается въ обществѣ: значитъ—въ этомъ обществѣ дѣлается слишкомъ мало умственныхъ приоб-



рѣтеній, которыя углубляютъ и улучшаютъ наши взгляды на то, что слѣдуетъ называть правильными людскими отношеніями. «Часто случается, что личность гибнетъ, а созданный ею идеаль переходитъ мало-помалу въ массу, которая сначала противъ него боролась».

Свѣтлый идеаль воспитателя, къ которому всю жизнь стремился и такъ близко подходилъ въ своей педагогической дѣятельности покойный Стоюнинъ, лишь тускло мерцаетъ для большинства нашихъ современныхъ педагоговъ. Не бѣда, если проповѣдь новыхъ идеаловъ встрѣчаетъ противодѣйствіе: старые боги не могутъ уступить безъ борьбы своего мѣста, и въ этой духовной борьбѣ просвѣтляется истина, укрѣпляются всѣ тѣ стремленія, на сторонѣ которыхъ стоитъ жизненная правда и красота. Общественная бѣда и личное горе начинаются тогда, когда доброе сѣмя падаетъ на неплодную землю, когда горячее слово встрѣчаетъ вялое равнодушіе, когда живые побѣги глушатся тупою апатіей. Честный человѣкъ будетъ бороться съ противникомъ только честными средствами и этою борьбой невольно послужитъ той истинѣ, противъ которой ошибочно вооружается. Педагогическіе идеалы Стоюнина далеки, очень далеки отъ осуществленія. Иной разъ кажется, что въ недавнее время мы были къ нимъ ближе, чѣмъ теперь. Пусть же свободно раздаются голоса людей, выступающихъ за иныя начала, за иную школу. Тотъ, кто искренно вѣритъ въ эти начала, первый пожелаетъ свободнаго обмѣна мыслей, потому что именно такой обмѣнъ одинъ и въ состояніи доказать правильность идеи, ея плодотворное жиз-



ненное значеніе. Что можетъ быть страшнѣе отвѣтственности дѣятеля, налагающаго свои педагогическіе взгляды безъ ихъ предварительной провѣрки, безъ постояннаго контроля другихъ педагоговъ и семьи надъ проведеніемъ этихъ взглядовъ въ учебной практикѣ? *Московскія Вѣдомости* напомнили какъ-то выраженіе Гоголя, который сказалъ, что у насъ въ дѣло воспитанія всякій вмѣшивается, потому что всякій считаетъ себя умнымъ человѣкомъ. Этимъ ошибочнымъ представленіемъ пользуется и нынѣшній редакторъ *Московскихъ Вѣдомостей*, частенько-таки предаваясь размышленіямъ вслухъ о вопросахъ воспитанія. Но мы, повторяемъ, не видимъ въ этомъ никакой бѣды. Бѣда возникаетъ лишь тогда, когда начинаютъ слышаться одни монологи, когда некому, какъ говорится на театральномъ языкѣ, подавать реплики. Переживаемое нами время, да и не нами только, а и всею Европой, заключаетъ въ себѣ не мало опасностей для правильнаго личнаго и общественнаго развитія, и теперь больше, чѣмъ когда-либо, необходимо блюсти завѣтъ великаго писателя: съ словомъ надо обращаться честно. Говорю: *больше, чѣмъ когда-либо*, не потому, разумѣется, что честное обращеніе съ словомъ можетъ хоть на мигъ стать не заповѣдью, а потому единственно, что очень ужъ увеличились у насъ соблазны къ нарушенію этой заповѣди, соблазны самые разнообразные и нерѣдко замаскированные. Въ числѣ послѣднихъ едва ли не главную роль играетъ самолюбіе. Этому божку приносятся теперь удивительныя жертвы. Приведу любопытный примѣръ. Вышли, вторымъ изданіемъ, четыре тома сочиненій Н. К. Михайловскаго. Въ



*Новостяхъ* появилась по этому поводу слѣдующая библиографическая замѣтка, подписанная Вл. Мч.: «Сочиненія г. Михайловскаго состоятъ исключительно изъ его журнальных статей и фельетонныхъ замѣтокъ по разнымъ вопросамъ и злобамъ дня, печатавшихся въ блаженной памяти *Отечественныхъ Запискахъ*. Собственно говоря, сочиненія г. Михайловскаго любопытны теперь преимущественно въ историческомъ отношеніи. Для исторіи даннаго момента, даннаго настроенія и направленія въ недавнемъ прошломъ нашей журналистики они представляютъ довольно существенный матеріалъ, не лишены характерности и поучительности. Безъ сомнѣнія, историкъ этого момента русской журналистики скажетъ большое спасибо г. Михайловскому за то, что онъ, собравъ и издавъ свои сочиненія, избавилъ его отъ лишней траты времени и неблагодарнаго труда рыться въ пыльных гудахъ старыхъ, забытыхъ журналовъ за много лѣтъ».

Грустное впечатлѣніе производитъ эта замѣтка. Мнѣ неизвѣстно, чѣмъ славенъ г. Вл. Мч., какія литературно-общественныя заслуги, какая громада знаній даютъ ему право относиться пренебрежительно къ трудамъ такого писателя, какъ г. Михайловскій. Думаю, что человѣкъ, серьезно занятый философскими и общественными вопросами, найдетъ въ статьяхъ г. Михайловскаго много поучительнаго. Историкъ русской литературы, наконецъ просто образованный человѣкъ, интересующійся критическою оцѣнкой выдающихся нашихъ писателей, будетъ обращаться къ сочиненіямъ Н. К. Михайловскаго долгое время, потому что идеи, развиваемыя въ этихъ сочиненіяхъ, во многихъ отно-



шеніяхъ далеко опережаютъ наше время. Я тѣмъ съ большимъ основаніемъ могу это говорить, что по нѣкоторымъ вопросамъ расхожусь съ г. Михайловскимъ. Самыя ошибки его поучительны, потому что онѣ являются ошибками честнаго и пытливаго ума. Не буду говорить о тѣхъ мотивахъ, которые могли вызвать замѣтку г. Вл. Мч., и повторю только, что она составляетъ грустное явленіе, есть признакъ глубокаго пониженія нравственно-общественнаго уровня. Случайное перераспредѣленіе литературныхъ силъ отодвинуло на задній планъ однихъ, выдвинуло другихъ. Тѣмъ счастливымъ, которымъ выпала теперь руководящая роль (иной разъ совсѣмъ не по заслугамъ), необходимъ особенный тактъ, особенно бережное отношеніе къ общимъ интересамъ русской литературы и русскаго печатнаго слова вообще. При неисполненіи этого требованія наступаетъ умственная анархія. Всякій старается *отличиться*, сказать *красное словечко*. Критикъ, — какъ выразился покойный А. Θ. Писемскій про одного изъ здравствующихъ писателей, — занимается не разборомъ произведеній, а личными счетами, онъ — *отомщеваетъ*. Естественно, что при такомъ хаосѣ, въ состояніи такого нравственнаго разброда обращаются съ преувеличенными требованіями къ государству, потому что только оно одно ставится выше раздутаго самолюбіемъ собственнаго я. Это является неизбежнымъ и печальнымъ послѣдствіемъ отсутствія нравственно-общественной дисциплины, — само собою разумѣется, добровольной. А что означаетъ такое отсутствіе? Прежде и больше всего оно указываетъ на уменьшеніе вѣры въ тѣ идеалы, на защиту которыхъ



выступает писатель, на неискренность той преданности, съ которою подобная защита должна быть ведена. Идеи, *направленіе* (надъ этимъ понятіемъ у насъ теперь хихикаютъ беззаботные на счетъ направленія публицисты) объединяютъ людей, а сознаніе своей погрѣшимости укрѣпляетъ такую солидарность, которая разрывается лишь грубыми эгоистическими стремленіями. Тяжкимъ грѣхомъ, непростительнымъ поступкомъ является всякая попытка изъ-за уязвленнаго когда-либо и чѣмъ-либо самолюбія *отомщевать*, какъ бы слаба и ничтожна ни была такая попытка сама по себѣ. Что бы тамъ разсудительные практики ни говорили, жизнь красна только идеями, только духовнымъ смысломъ, только любовью и уваженіемъ къ человѣку. Трудно измѣрить въ этомъ отношеніи заслуги людей, подобных покойному Стоюнину. Молодая поколѣнія, которыя проходятъ чередою подъ благотворнымъ вліяніемъ такихъ педагоговъ, связываются гуманною традиціей, высоко поднимаются надъ среднимъ уровнемъ нашего общества. Этотъ облагороженный элементъ вводится, какъ дѣятельная сила, въ русскую жизнь и вырабатываетъ болѣе справедливыя личныя, семейныя и общественныя отношенія. Стоюнинъ, — говоритъ В. И. Сизовъ \*), — «вкореняя въ воспитанницахъ (московскаго Николаевскаго института) любовь и уваженіе къ своему педагогическому дѣлу, надѣялся этимъ самымъ и въ нашемъ обществѣ поднять значеніе воспитательницъ и учительницъ. Въ это же время (начало семидесятыхъ годовъ) стала чувствоваться потребность и

---

\*) *Русскія Вѣдомости*.



въ учительницѣ народной школы, и Владиміръ Яковлевичъ призывалъ къ трудамъ и на этомъ новомъ поприщѣ. Такъ, въ рѣчи своей, обращенной къ окончившимъ курсъ воспитанницамъ (выпускъ 1874 года) онъ говорилъ, между прочимъ: «Трудовъ, трудовъ! — слышится неумолчный голосъ, — трудовъ на пользу просвѣщенія и образованія, трудовъ честныхъ, проникнутыхъ сознаніемъ общей пользы, трудовъ для всего народа! На такіе труды мы благословляемъ васъ, — будетъ ли кто трудиться въ новой русской школѣ, будетъ ли кто приносить благо просвѣщенія семьѣ. Конечно, многимъ придется переживать и неудачи, выносить борьбу какъ съ самими собою, такъ и съ невѣжествомъ; но, вы знаете, въ борьбѣ крѣпнутъ силы, пріобрѣтается опытность: силенъ нравственно тотъ, кто не боится борьбы за честное и святое дѣло».

Стоюнинъ принадлежалъ къ младшимъ людямъ сороковыхъ годовъ, когда смолоду запасались теоретическими знаніями, когда страстно и настойчиво стремились къ установленію отчетливыхъ и цѣлостныхъ идеаловъ личной и общественной жизни. Люди сороковыхъ годовъ не съ неба, конечно, свалились: гуманная традиція шла у насъ съ основанія Московскаго университета и была уже въ XVIII вѣкѣ прославлена именами Новикова и Радищева. «Дней Александровскихъ прекрасное начало» дало много выдающихся дѣятелей. «Начало девятнадцатаго вѣка, — говоритъ академикъ Сухомлиновъ, — ознаменовано для Россіи рядомъ событій, имѣвшихъ благотворное вліяніе на умственную жизнь русскаго общества. Самымъ яркимъ



признакомъ новаго и лучшаго времени служатъ тѣ дѣятельныя мѣры для народнаго образованія, которыми началось царствованіе Императора Александра І и плоды которыхъ все сильнѣе и сильнѣе обнаруживаются съ каждымъ новымъ поколѣніемъ» \*). Вскорѣ по вступленіи на престолъ, Александръ І издалъ указъ, въ которомъ говорилось слѣдующее: «Желая доставить всѣ возможные способы къ распространенію полезныхъ наукъ и художествъ, повелѣваемъ: запрещеніе на впускъ изъ-за границы всякаго рода книгъ и музыки отмѣнить, равномѣрно запечатанныя частныя типографіи распечатать, дозволяя какъ привозъ иностранныхъ книгъ, журналовъ и прочихъ сочиненій, такъ и печатаніе оныхъ внутри государства». М. И. Сухомлиновъ замѣчаетъ, что, по свидѣтельству современниковъ, съ воцареніемъ Императора Александра І «всѣ почувствовали какой-то нравственный просторъ, взгляды сдѣлались у всѣхъ благосклоннѣе, поступъ смѣлѣе, дыханіе свободнѣе». Первый у насъ министръ народнаго просвѣщенія, графъ Завадовскій, и его товарищъ, Михаилъ Никитичъ Муравьевъ, оказали умственному развитію русскаго общества чрезвычайныя услуги. «Муравьевъ, — пишетъ М. И. Сухомлиновъ, — высказываетъ достойное писателя и ученаго убѣжденіе, что свобода изслѣдованія составляетъ необходимое условіе не только для поднятія просвѣщенія, но и для поднятія народной нравственности».

Академикъ Сухомлиновъ сообщаетъ любопытныя подробности о реакціи, которая омрачила вторую поло-

\*) М. И. Сухомлиновъ: «Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію». Спб., 1883 г. Т. І, стр. 1, 3, 11.



вину царствованія Императора Александра І. Вотъ, на-  
примѣръ, нѣкоторыя выписки *вредныхъ мыслей* изъ лек-  
цій профессоровъ Германа, Раупаха и Арсеньева: «Де-  
мократическій образъ правленія имѣетъ ту выгоду, что  
каждый гражданинъ въ полномъ смыслѣ можетъ ска-  
зать: я человекъ». «Священные книги мы знаемъ толь-  
ко у трехъ народовъ: іудеевъ, мидянъ и индійцевъ». «При Ахавѣ было введено изъ Финикіи служеніе Ваалу и  
(оттого) обѣ религіозныя партіи, обожатели Іеговы и Ва-  
ала, начали другъ друга преслѣдовать». «Народъ былъ  
прежде правительства, слѣдовательно, народъ важнѣе  
правительства, и мы должны говорить о народѣ такъ,  
какъ о важнѣйшемъ предметѣ» и т. п. \*).

М. И. Сухомлиновъ говоритъ, что мы были «изъ  
вѣка свободы и просвѣщенія едва не переселились въ  
въ средніе вѣка». Но гуманная традиція не оборвалась  
въ русскомъ обществѣ. Хотя она, подъ неблагопріят-  
нымъ вліяніемъ внѣшнихъ условій, и сузилась въ сво-  
емъ руслѣ, зато пошла въ глубь. Авторъ *Очерковъ  
русской жизни* въ журналѣ *Русская Мысль*, Н. В.  
Шелгуновъ, вполне основательно, со свойственною  
ему мѣткостью, указывалъ на неправильность того  
взгляда, по которому смѣна нашихъ обществен-  
но-литературныхъ теченій объясняется смѣною по-  
колѣній. Новое поколѣніе—*дѣти*—оказывалось въ  
дѣйствительности иной разъ совсѣмъ ретроgrадами по  
отношенію къ *отцамъ*; но это могло быть сказано толь-  
ко по отношенію къ *тѣмъ дѣтямъ*, которыя, волею  
судебъ, занимали временно первый планъ общественной

---

\*) М. И. Сухомлиновъ, назв. соч., стр. 284, 289, 295 и 299.



сцены. Другія *дѣти* продолжали думать и чувствовать въ направленіи *отцовъ* и сохраняли съ ними живую преемственную связь. Добрый починъ лучшихъ нашихъ людей и самага правительства, при Императрицѣ Екатеринѣ II и при Императорѣ Александрѣ I, не могъ пройти безслѣдно, и мы дожили теперь до возникновенія у насъ серьезнаго общественнаго мнѣнія. «Я не хочу,—говорилъ Александръ I,—чтобы общественное воспитаніе лишало молодежь энергіи, точно такъ же, какъ я не хочу имѣть слабодушныхъ въ государственной службѣ» \*). И высокій подъемъ общественнаго одушевленія въ тяжелую годину исполинской борьбы съ Наполеономъ I ясно показалъ, какая сила заключается въ разумномъ руководствѣ власти, давшей просторъ личной самодѣтельности, живому росту общественной совѣсти и политическаго смысла. Честная школа, не уродующая душу ребенка, не загоняющая его умъ въ узкія колодки, связываетъ поколѣнія въ единое цѣлое, въ культурное общество, является лучшею пособницей благотворнаго вліянія старыхъ учреждений и созданія учреждений новыхъ, въ которыхъ воплощается растущая государственная мысль. Настанетъ время, когда общество будетъ по заслугамъ цѣнить такихъ людей, какъ Стоюнинъ, какъ Водовозовъ, и мы увѣрены, что это время не за горами. Подобные люди—истинные герои въ глазахъ cadaго, кого притягиваютъ къ себѣ научная истина и жизненная правда, кого волнуетъ доброе и прекрасное. «Силенъ нравственно

---

\*) А. П. Пятковскій. «Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія». Спб., 1888 г., т. II, стр. 179.



тотъ,—говорилъ Стоюнинъ,—кто не боится борьбы за честное и святое дѣло», и эти слова, въ которыхъ звучатъ непоколебимое убѣжденіе и беззавѣтная преданность человѣчному въ человѣкѣ, навѣрное, многихъ изъ учениковъ и ученицъ Стоюнина подкрѣпляли въ грустные часы утомленія и разочарованія. Нѣтъ, по нашему мнѣнію, дѣла выше и плодотворнѣе дѣла воспитанія, стремленія создать для людей правильныя условія личнаго и общественнаго совершенствованія. Пробудить и укрѣпить въ ребенкѣ желаніе трудиться и быть полезнымъ въ общественномъ смыслѣ этого слова, отдать этому всѣ свои знанія и помыслы—значить обладать великою душой. Наградой за такой подвигъ является чистая любовь дѣтей, которою пользовался Владиміръ Яковлевичъ, которая должна была служить для него лучшимъ утѣшеніемъ въ различныхъ житейскихъ невзгодахъ. Литературно - педагогическіе труды Стоюнина и Водовозова «окончательно уничтожили, какъ выразился В. П. Острогорскій, прежнюю схоластику въ преподаваніи родного языка и дали словесности, какъ учебному предмету, свѣтъ и жизнь» \*). И нельзя не пожалѣть, что въ нашихъ среднеучебныхъ заведеніяхъ сильно сократилось преподаваніе литературы, что молодые люди поступаютъ теперь въ высшее учебное заведеніе или прямо выходятъ въ жизнь, не познакомясь основательно, подъ умѣлымъ руководствомъ, съ лучшими произведеніями лучшихъ нашихъ и западно-европейскихъ писателей. Въ пере-

\*) В. И. Семевскій: „Василій Ивановичъ Водовозовъ“, біографическій очеркъ. Спб., 1888 г., стр. 169.



ходномъ возрастѣ, на порогѣ болѣе самостоятельной умственной работы въ университетѣ или въ специальномъ учебномъ заведеніи, особенно важно заложить въ душу воспитанника основы гуманности и эстетическаго пониманія. Вѣрнѣйшимъ средствомъ для этого служить, какъ я уже замѣтилъ, преподаваніе словесности, многосторонній разборъ содержанія и формы тѣхъ сочиненій, которыя составляютъ національную славу. Стоюнинъ много силъ положилъ на такое преподаваніе въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Женская гимназія, основанная его супругой въ Петербургѣ, была счастлива тѣмъ, что въ ней работалъ Владиміръ Яковлевичъ. Не пришлось ему дожидаться перваго выпуска изъ этой гимназіи, но не можетъ остаться безъ плодотворнаго слѣда его работа въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, не погаснетъ память о немъ, какъ объ истолкователѣ тѣхъ свѣтлыхъ образовъ и тѣхъ печальныхъ явленій, которые заключены въ созданіяхъ русскихъ писателей-художниковъ. «Женщина,—говорилъ покойный Водовозовъ,—выступила на общественную арену съ того узкаго пути, гдѣ ей предписано было только нянчить дѣтей, заниматься домашнимъ хозяйствомъ да очаровывать гостей своею любезностью. Она заявляла права на болѣе широкое участіе въ трудѣ, въ общественной дѣятельности, которое могло бы послужить новою опорой и для семьи, на образованіе, которое сравняло бы ее съ мужчиной. Она даже не искала правъ, а только требовала, чтобъ ей дали возможность учиться, и готова была терпѣливо ждать, пока высшее образованіе не откроетъ ей новыхъ путей къ дѣятельности. Такимъ образомъ, вмѣ-



сто прежняго идеала романтической, нѣжной барышни, занятой лишь своими чувствами и милой своимъ незнаніемъ, возникъ идеаль трезвой труженицы, неутомимой работницы на аренѣ общественной пользы \*). Реакція противъ прежняго не могла, по условіямъ времени, не впасть въ крайность, но отъ этой крайности въ наши дни не осталось и слѣда. Нѣтъ, думаю я, никакого сомнѣнія въ томъ, что такіе педагоги, какъ Стоюнинъ, Водовозовъ и Ушинскій, въ весьма значительной степени содѣйствовали правильной и теоретической, и практической постановкѣ женскаго образованія и воспитанія. Ихъ ученицы были избавлены отъ опасности увлечься *эмансипацией*: ихъ сразу охватывала здоровая атмосфера честной и бодрой мысли, ясной, прочувствованной гуманности. Нельзя не пожалѣть, что ни одному изъ трехъ названныхъ педагоговъ не пришлось дожидаться прочной организаціи общаго и высшаго женскаго образованія, и нельзя не повторить горячаго желанія, чтобы поскорѣ наступилъ этотъ благодатный день.

---

\*) В. И. Семевскій, назв. соч., стр. 145 и 146.



## Объ одномъ изъ старыхъ славянофиловъ.

---

У насъ много говорили и говорятъ о разбродѣ мысли въ русскомъ обществѣ, о паденіи идеаловъ и смутности вслѣдствіе этого теоретическихъ стремленій, непослѣдовательности и неустойчивости практическихъ начинаній. Мнѣ кажутся эти сужденія очень преувеличенными. Нѣкоторая доля неопредѣленности мысли заключается именно въ нихъ. Небезполезно прошла для русскаго общества послѣдняя четверть вѣка. Правда, пылкая, почти дѣтская вѣра въ возможность однимъ героическимъ усиліемъ сдвинуть съ мѣста громаду препятствій, мѣшающихъ людскому счастью, и затѣмъ другимъ подобнымъ же усиліемъ создать прочные устои для этого счастья,—такая вѣра теплится теперь не у многихъ. Но несомнѣнно, что у насъ пробудилась и крѣпнеть политическая мысль. И нужно замѣтить, что въ недавнее еще время правительство старалось развить общественную самодѣятельность, создавая самоуправленіе, судъ присяжныхъ, расширяя рамки свободного обсужденія для повременной печати. Такой способъ дѣйствія не могъ не оказывать очень сильнаго вліянія на распространеніе либеральныхъ идей въ ширь:



многіе, не кривя совѣстью, а нѣкоторые, не смущаясь этимъ, выступали въ роли либераловъ, такъ сказать, по приглашенію правительства. Когда приглашенія перестали раздаваться, случайные либералы первого призыва или стали вполнѣ равнодушными къ политическимъ вопросамъ, или перешли съ легкимъ сердцемъ въ лагерь реакціонеровъ. Тѣмъ не менѣе нельзя сомнѣваться, что въ нашемъ обществѣ растетъ, — и въ четверть вѣка значительно выросло, — число людей образованныхъ и убѣжденныхъ, и большая часть этого приращенія, по всѣмъ признакамъ, выпадаетъ именно на людей либеральнаго направленія. Слово «либерализмъ» до сихъ поръ производитъ у насъ нѣкоторую путаницу, и новая попытка разъясненія будетъ по этому небезполезна.

Дѣло въ томъ, что въ Россіи могутъ существовать покуда только или реакціонеры, или либералы, или люди, которые хотятъ вернуть хотя часть того, что, въ общемъ и главномъ, безвозвратно разрушено освобожденіемъ крестьянъ; или же люди, которые стремятся, чтобы весь нашъ общественный строй былъ согласованъ съ основными идеями великаго преобразования. Имена, клички путаются дѣйствительно. Въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ существуетъ, напримѣръ, партія республиканцевъ и партія демократовъ, хотя послѣдніе такіе же республиканцы, какъ и первые. Суть въ идеяхъ, вокругъ которыхъ группируются люди, въ программѣ практической дѣятельности, которая ихъ объединяетъ. И вотъ консерваторамъ у насъ рѣшительно нечего дѣлать: время теперь переходное, съ крѣпостническихъ устоевъ на-



родъ сдвинуть, необходимо или идти впередъ, или пятиться назадъ. Такимъ образомъ на одной сторонѣ стоятъ у насъ органы, подобные *Гражданину*, *Московскимъ Вѣдомостямъ* и *Русскому Вѣстнику* (со смертью Каткова первая роль въ ретроградномъ лагерѣ перешла несомнѣнно къ *Гражданину*), на другой—представители всѣхъ многочисленныхъ оттѣнковъ либеральнаго направленія, причемъ очень видное мѣсто среди послѣднихъ занимаютъ *славянофилы*. Такъ какъ последнее заявленіе противорѣчитъ общепринятому, кажется, мнѣнію, то я представлю обстоятельныя доказательства его истинности. Для характеристики славянофильства я возьму *Полное собраніе сочиненій И. С. Аксакова*.

Для либерала основнымъ требованіемъ является свобода совѣсти человѣка и свобода его слова. Посмотрите, какъ относился къ этимъ вопросамъ покойный Аксаковъ въ теченіе всей своей многолѣтней публицистической дѣятельности, во всѣхъ изданіяхъ, руководителемъ которыхъ онъ былъ. Онъ рѣшительно выступаетъ противъ смѣшенія государственнаго съ церковнымъ. «Внося элементъ внѣшней силы туда, гдѣ все должно истекать изъ внутренняго свободнаго убѣжденія, государство по необходимости должно было бы ограничиться одною внѣшностью, ибо область внутренняя ему недоступна, ибо только за однимъ внѣшнимъ проявленіемъ способно слѣдить государство». (*День*, 18 сентября 1865 г., *Полное собраніе сочиненій*, томъ IV, 36). Въ другой статьѣ той же газеты Иванъ Сергѣевичъ прямо выступаетъ противъ включенія въ уголовный кодексъ, въ качествѣ преступленій, укло-



ненія православнаго въ иновѣріе и совращенія ино-  
вѣрнымъ православнаго въ свою вѣру: «совѣсть въ  
дѣлѣ вѣры должна быть совершенно свободна и удерживать кого-либо въ вѣроисповѣданіи полицейскимъ  
способомъ—противно духу Христова ученія» (IV, 63).  
Защитѣ этой же мысли посвящено нѣсколько пламен-  
ныхъ статей въ *Москвѣ* (16 апрѣля 1868 г., 19 апрѣля,  
27 апрѣля, 1, 2, 9, 13 августа того же года и др.).  
«Не благодаря ли началу *свободы совѣсти*, — писалъ  
Аксаковъ, — этому существенному условію вѣры, безъ  
котораго вѣра не есть вѣра, — началу, ставшему крае-  
угольнымъ камнемъ гражданскихъ законодательствъ  
Европы, — стала возможною въ католическихъ земляхъ  
вольная проповѣдь православія?» И съ неотразимою  
силой логики Иванъ Сергѣевичъ вслѣдъ затѣмъ спра-  
шиваетъ: «Если, благодаря *свободѣ совѣсти*, допущен-  
ной иностранными законами, свѣтъ истинной церкви  
сталъ свѣтити и во тьмѣ, то почему же думаютъ, что  
эта же свобода, допущенная у насъ, въ Россіи, въ  
царствѣ свѣта, среди *сыновъ свѣта*, обратитъ свѣтъ во  
тьму, угаситъ свѣтильникъ? Почему же та самая сво-  
бода, которою не находятъ предосудительнымъ пра-  
вославная іерархія пользоваться въ чужихъ краяхъ для  
своихъ мирныхъ пріобрѣтеній, почитается у насъ дома  
злымъ, вредоноснымъ началомъ? Почему же, опираясь  
на начало *свободы совѣсти* для стяжанія иновѣрческой  
совѣсти, мы сами, дома, не вѣримъ въ русскую со-  
вѣсть, не признаемъ за нею права свободы, не тре-  
буемъ отъ нея искренняго отношенія къ вѣрѣ, а какъ  
бы отдаемъ ее въ крѣпостную кабалу *господствующей*  
церкви?» (IV, 80, 81).



Не будемъ останавливаться далѣе на отношеніи Аксакова къ великому вопросу о свободѣ вѣроисповѣданія: и приведенныхъ выдержекъ совершенно достаточно для вполне яснаго, безошибочнаго сужденія объ этомъ. То, что писалъ Иванъ Сергѣевичъ въ защиту независимой печати, также не оставляетъ ничего желать въ точности и ясности. Аксаковъ говоритъ, что русское самодержавіе не есть ни нѣмецкій абсолютизмъ, ни азіатскій деспотизмъ, и вполне согласимо съ свободою печати (*День*, 2 октября 1865 г.). «Прежде всего,—замѣчаетъ Аксаковъ,—свобода рѣчи сама по себѣ не есть свобода политическая... Мысль, слово! Это — не *прерогатива*, а неотъемлемая принадлежность человѣка, безъ которой онъ не человѣкъ, а животное. Безсмысленны и безсловесны только скоты. Посягать на жизнь разума и слова въ человѣкѣ значитъ не только совершать святотатство Божьихъ даровъ, но посягать на божественную сторону человѣка, на самый Духъ Божій, пребывающій въ человѣкѣ, на то, чѣмъ человѣкъ — человѣкъ, и безъ чего человѣкъ — не человѣкъ!» (V, 11 — 12). «Безъ свободы слова,—продолжаетъ Аксаковъ,—не можетъ быть никакихъ правильныхъ отправленій человѣческаго духа, никакихъ гражданскихъ доблестей: «умерщвленіе жизни мысли и слова не только самое страшное изъ всѣхъ душегубствъ, но и самое опасное, по своимъ послѣдствіямъ, для судьбы царствъ и народовъ. Если вы требуете отъ человѣка разумнаго содѣйствія, помощи, услуги, наконецъ разумной покорности, для которой въ особенности необходимъ свободный актъ воли, дайте ему, прежде всего, возможность быть человѣ-



комъ, взрослымъ членомъ общества и сознательнымъ подданнымъ государства, то-есть право мыслить и говорить, а не превращайте его въ скотоподобное, безсловесное и бессмысленное существо, или въ вѣчнаго недоросля, который самъ уже и никакихъ личныхъ нравственныхъ требованій къ себѣ не простираетъ, да и простираетъ не въ правѣ,—благо есть на это опекуны!» Въ томъ же 1865 г., по поводу рѣзкой полемической статьи *Современника*, направленной противъ *Дня*, Аксаковъ писалъ, что давно уже ничему такъ серьезно не радовался, какъ появленію этой статьи: «наступать, наконецъ, пора, когда можно будетъ намъ бороться съ нашими противниками открыто, явно, безъ намековъ, двусмысліи, иносказаній, одинаковымъ, равнымъ оружіемъ мысли и слова, не опасаясь вмѣшательства полиціи, называя вещи прямо по имени» (VII, 507).

Въ четвертомъ томѣ *Полнаго собранія сочиненій И. С. Аксакова* свободѣ слова отведено сто семьдесятъ страницъ. Уже одна эта цифра показываетъ, какую важность придавалъ вопросу о печати Иванъ Сергѣевичъ, какъ онъ настойчиво возвращался къ этому вопросу. Въ *Днѣ* (12 мая 1862 года) знаменитый славянофилъ писалъ, что «нѣтъ ни одного разумнаго чело-вѣка изъ публики не правительственной, изъ міра неофициальнаго, который бы заявилъ себя врагомъ свободы слова и защитникомъ цензуры». Въ другой статьѣ той же газеты Иванъ Сергѣевичъ заявилъ, что, по его мнѣнію, «преступныя дѣйствія въ области публичнаго слова должны подлежать единственно вѣдѣнію (юрисдикціи) тѣхъ же судебныхъ учреждений, кото-



рымъ подлежатъ и всякія другія преступныя дѣйствія». Аксаковъ предлагалъ внести въ *Сводъ законовъ* слѣдующее постановленіе: «Свобода печатнаго слова есть неотъемлемое право каждаго подданнаго Россійской имперіи, безъ различія званія и состоянія» (IV, 368). Для печатанія книгъ и для изданія газетъ и журналовъ Иванъ Сергѣевичъ отвергалъ предварительное разрѣшеніе. Высказавши нѣсколько юридическихъ соображеній, Аксаковъ замѣчаетъ: «Главная задача новыхъ законовъ о печати состоитъ не столько въ составленіи новаго уголовного кодекса по преступленіямъ въ области печати, сколько въ обезпеченіи обвиняемыхъ правильнымъ устройствомъ суда и предоставленіемъ опредѣленія виновности или невинности обвиняемыхъ — суду присяжныхъ».

Нужно ли продолжать выписки? Скажемъ только, что Иванъ Сергѣевичъ всю жизнь оставался вѣренъ этимъ идеямъ, что для него онѣ всегда оставались руководящими началами его дѣятельности. Въ газетѣ *Русь* (1 октября 1882 г.) говорится то же, что говорилось въ *Днѣ, Москвѣ, Москвичѣ*: «Цензурныя стѣсненія свободы печати ослабляютъ, а иногда и совсѣмъ упраздняютъ спасительное дѣйствіе благой стороны печати, слѣдовательно ослабляютъ или упраздняютъ наилучшее орудіе борьбы со зломъ, сами же никогда вполнѣ не достигаютъ своей цѣли и въ окончательномъ результатѣ приносятъ болѣе вреда, чѣмъ пользы» (IV, 525). По поводу запрещенія въ 1883 г. литературнаго противника *Руси, Голоса*, Аксаковъ выражалъ свое искреннее сожалѣніе и писалъ, между прочимъ, слѣдующее: «Запретите, пожалуй, всѣ газеты, — работа обществен-



ной мысли будетъ все же производиться, но во тьмѣ, подспудно, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для торжества правды: обезоруженными явятся лишь тѣ, которыя неспособны защищать истину иначе, какъ при свѣтѣ, въ открытой и честной борьбѣ» (VI, 482). Въ отвѣтъ на реакціонное завыванье *Гражданина* Иванъ Сергѣевичъ очень кстати приводитъ остроумную выходку Шербюлье: «Le bon Dieu aime mieux ceux qui le renient que ceux qui le compromettent...»

Еще въ 1864 г. Аксаковъ обстоятельно доказывалъ необходимость развитія у насъ независимой областной печати (*День*, 15 февраля 1863 года, *Полное собраніе сочиненій*, V, 262—270 \*). Простора и свѣта требовалъ неутомимый и высокодаровитый публицистъ для Русской земли, для всѣхъ ея глухихъ уголковъ, для каждаго общественнаго дѣла и въ каждую минуту. Естественно поэтому, какъ страстно желалъ Аксаковъ паденія стараго приказнаго суда, мертвящей канцелярской тайны, какъ горячо привѣтствовалъ онъ Судебные Уставы Императора Александра II. Иванъ Сергѣевичъ былъ прирожденный политическій дѣятель, неутомимый и неукротимый боецъ. Онъ самъ писалъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній:

Пошли мнѣ бури и ненастья,  
Даруй мучительные дни,  
Но отъ преступнаго безстрастья,  
Но отъ покоя сохрани!

Привѣтствуя въ *Днѣ* (13 октября 1862 года) обнародованіе основныхъ положеній судебной реформы,

---

\*) Другая статья по этому же вопросу напечатана въ *Днѣ* 11 апрѣля 1864 года (II, 183—189).



Аксаковъ высказывалъ сожалѣніе лишь о томъ, что эти основныя положенія не были выработаны путемъ совѣщанія съ земскими выборными людьми, какъ это дѣлалось въ старину. Иванъ Сергѣевичъ боялся канцелярскихъ измышленій, — эту боязнь онъ всю жизнь испытывалъ. Опасался редакторъ *Дня*, какъ бы бюрократы-законодатели не ввели ограниченій относительно состава суда присяжныхъ и т. д. (IV, 540—547). Но уже въ началѣ 1867 года знаменитый публицистъ писалъ въ *Москвѣ*: «Едва ли какое преобразование, кромѣ уничтоженія крѣпостного права, такъ быстро принялось на нашей почвѣ, такъ быстро пустило корни въ народное, именно въ народное и даже простонародное сознаніе, какъ новыя судебныя учрежденія. *Правый судъ* — судъ самостоятельный, независимый и равный для всѣхъ — призванъ обновить русскую жизнь во всѣхъ ея отправленіяхъ государственныхъ, соціальныхъ, бытовыхъ, и поднять общій уровень народной нравственности». Полемизируя съ тогдашними представителями попятнаго движенія, Аксаковъ писалъ: «не приходится ли каждому изъ насъ слышать и даже читать, напри- мѣръ, хоть въ *Вѣсти*, что наша новая форма правосудія роняетъ достоинство полиціи и вообще власти, убавляетъ уваженія къ администраціи, расшатываетъ основы общественнаго благочинія и благоустройства? Но чѣмъ же виноватъ новый судъ, что, при всякомъ соприкосновеніи съ нимъ полиціи и администраціи, онѣ отражаются въ немъ, какъ къ зеркалѣ, во всей своей истинѣ, со всѣми своими пріемами и порядками?» (*Москвичъ*, 8 февраля 1868 года).

Прошло шестнадцать лѣтъ, и Аксакову вновь при-



шлось выступить противъ нашихъ реакціонеровъ на защиту *Судебныхъ Уставовъ* 1864 года. Статьи *Руси* ярко напомнили о тѣхъ временахъ, когда Россія была

— Въ судахъ черна, неправдой черной.

Указавши на тѣ ожесточенныя нападенія, которымъ подвергался новый судъ отъ *Московскихъ Вѣдомостей* и ихъ союзниковъ, Иванъ Сергѣевичъ прибавляетъ: «Мы очень рады, что государственная власть не вмѣшивается въ это литературное судьбище и разумно предоставляетъ полный просторъ и свободу; было бы только желательно, чтобы она въ подобныхъ случаяхъ не дѣлала различія между судебнымъ и другими высшими административными вѣдомствами (значеніе которыхъ несравненно ниже перваго), такъ какъ различіе въ отношеніяхъ власти могло бы подать поводъ ложнымъ и, конечно, тревожнымъ слухамъ, будто *новый судъ* и у нея подъ опалой, будто *Уставамъ* 1864 г. дѣйствительно грозитъ чуть не совершенное упраздненіе» (IV, 653 — 654). При одномъ воспоминаніи о старомъ судѣ, которымъ желали бы наградить Россію наши реакціонные публицисты, — говоритъ Аксаковъ, — «волосы встаютъ дыбомъ, морозъ деретъ по кожѣ!...» Мы имѣемъ право, — прибавляетъ редакторъ *Руси*, — такъ говорить: Иванъ Сергѣевичъ самъ служилъ по старымъ судебнымъ учрежденіямъ и воочію убѣдился, какая тамъ была «мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ».

И въ вопросѣ о судѣ Аксаковъ былъ, стало быть, на той сторонѣ, на которой стояли и стоятъ «либералы». Онъ благословляетъ уничтоженіе тѣлесныхъ наказаній, и не столько ради наказуемыхъ, сколько



ради самихъ наказывающихъ и зрителей наказанія: «мы находимъ не безполезнымъ, чтобы Россія поотвыкла нѣсколько отъ кулака, побоевъ, плетей и тому подобныхъ вразумленій тѣлесныхъ»... (Москва, 24 апрѣля 1868 года). Рѣшительно и горячо высказывался нѣсколько разъ Иванъ Сергѣевичъ и противъ смертной казни. О томъ, какъ защищалъ онъ необходимость самоуправленія,—извѣстно всей образованной Россіи. Въ одной изъ своихъ статей Аксаковъ писалъ объ этомъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ (Русь, 18 іюля 1881 г.): «Самое необходимое, можетъ быть даже *единое на потребу* для Россіи въ настоящую минуту, это — реформа земскихъ учрежденій, это—образованіе *мѣстнаго*, уѣзднаго и областного управленія, черезъ мѣстныхъ *земскихъ* людей, подъ контролемъ правительства и мѣстнаго населенія,—короче выразиться: организація *земства*, въ дѣйствительномъ и истинномъ значеніи этого слова». Извѣстно, съ какимъ страстнымъ ожесточеніемъ относился Аксаковъ къ казенщинѣ, къ бюрократіи, не видя въ послѣдней ничего хорошаго, ей одной приписывая всѣ бѣды и невзгоды, постигавшія Россію съ Петра Великаго. Въ этихъ нападкахъ было не мало преувеличеннаго, ибо, во-первыхъ, московская волокита, московская взятка были знамениты задолго до XVIII вѣка, и, во-вторыхъ, не могла же бюрократія въ теченіе двухъ почти столѣтій представлять изъ себя какую-то сплошную опричнину, не проникаясь вовсе общественными и народными элементами. Вѣдь, не съ неба же она свалилась, вѣдь, не особая каста управляла Россіей. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что самъ Аксаковъ иной разъ высказывалъ о до-петров



ской старинѣ горькія истины. Такъ, въ одной статьѣ Дня (V, 6—7) Иванъ Сергѣевичъ писалъ: «Намъ нечѣмъ превозноситься и славиться. Итогъ нашего тысячелѣтія скуденъ благими дѣянiями человечеству; намъ не на что указать, въ чемъ бы плодотворно проявилось наше историческое призваніе въ семьѣ народовъ. Мы слышимъ въ себѣ присутствіе силъ и талантовъ, но силы наши служили до сихъ поръ *только внѣшнему сложенію государства*, а на таланты наши, обильно отпущенные намъ отъ Бога, не принесли мы ни единого таланта и едва не зарыли ихъ въ землю. Съ уваженіемъ должны мы взглянуть на западные народы, которымъ дано едва ли не менѣе, чѣмъ намъ, непосредственныхъ даровъ Духа, но которые врученные имъ таланты умножили сторицею, подвизаясь въ непрерывной работѣ». «Мы, — продолжалъ Аксаковъ, — только донесли къ рубежу новаго тысячелѣтія вѣру и стихію гражданскаго братства, выражающуюся въ нашихъ общинахъ, мірахъ и артеляхъ, — но мы только донесли, мы еще не вывели ихъ на путь всемірнаго историческаго развитія, мы еще не явили ихъ свѣта міру».

Государственный идеалъ Аксакова, усвоенный имъ отъ старшихъ славянофиловъ-теоретиковъ (главнымъ образомъ отъ К. С. Аксакова), отличается туманностью и мечтательностью. Крайнее противоположеніе земской и казенной Россіи, провозглашеніе полной свободы мнѣнія при абсолютной власти представляютъ слабыя стороны (весьма существенныя, конечно) славянофильскаго ученія; но это не мѣшаетъ признать за нимъ очень значительныя заслуги въ дѣлѣ развитія у насъ



политической мысли. Аксаковъ возставалъ противъ лже-либерализма; но, вѣдь, противъ всякаго *лже* надо возставать. Въ одной статьѣ *Дня* (28 октября 1865 года) Иванъ Сергѣевичъ говоритъ о *весьма понятномъ и сочувственномъ духѣ либерализма*, который обнаруживается въ нѣкоторыхъ постановленіяхъ нашего закона по религіознымъ вопросамъ; онъ всегда возмущался только либерализмомъ напоказъ, высокомернымъ отношеніемъ къ своей народности, холопскими замашками передъ западною Европой въ лицѣ ея салонныхъ дипломатовъ, іезуитскихъ патеровъ, прусскихъ юнкеровъ и французскихъ парикмахеровъ. Аксаковъ вовсе не былъ безусловнымъ врагомъ перенесенія къ намъ западно-европейскихъ порядковъ, разъ въ этомъ ощущалась надобность. Такъ, онъ защищалъ всѣ основныя положенія *Судебныхъ Уставовъ Императора Александра II*, потому что старый судъ былъ никуда не годенъ (Аксаковъ признаетъ, что это грѣхъ до - петровскій), а необходимаго «органическаго матеріала» у законодателя не было. «Если даже признать, — говорилъ Иванъ Сергѣевичъ, — въ народѣ присутствіе своеобразнаго юридическаго созерцанія, то оно еще такъ не выяснено, что полагать его въ основу какого-нибудь законодательнаго зданія, какъ готовый матеріаль, невозможно» (IV, 571). Само собою разумѣется, что Аксаковъ совѣтуетъ брать *готовое* съ большою осторожностью, чтобъ оно не стѣсняло творческаго развитія свободныхъ общественныхъ силъ, а содѣйствовало ему.

Выше всѣхъ другихъ заслугъ Аксакова слѣдуетъ поставить его неизмѣнную проповѣдь свободы печатнаго слова. «Нѣтъ, пусть не пугаются свободной печати, —



писалъ онъ въ *Руси*.—Ея неудобства перевѣшиваются выгодами, такими невѣсомыми нравственными выгодами, которыхъ не въ силахъ даровать никакое иное *мѣропріятіе*. Дайте, наконецъ, возможность стать честнымъ русскому печатному слову! Вѣдь, честности, именно честности — то и не достаетъ нашей общественной жизни... Стѣсненія печати заграждаютъ уста только честнымъ писателямъ, но никогда не останавливали и не останавливаютъ лукаваго слова, —напротивъ, только придаютъ ему фальшивую цѣнность запрещеннаго плода или контрабанды. Отнимите же у него эту мнимую цѣнность».

Съ каждымъ новымъ днемъ потребность въ определенныхъ общественныхъ идеяхъ, которыя должны строго руководить практическою дѣятельностью, чувствуется у насъ все сильнѣе и сильнѣе. Такія идеи не заимствуются, —заимствованныя, онѣ окажутся безсильными при первомъ серьезномъ испытаніи: ихъ надо продумать и прочувствовать. Велика заслуга писателя, который честно послужилъ для просвѣтлѣнія общественнаго мнѣнія, который безъ устали будилъ общественную совѣсть. Если онъ уважалъ въ противникѣ такого же, какъ онъ самъ, человека и гражданина и не дѣлалъ даже попытки лишать возражающаго его естественнаго права —свободнаго слова, то благородна была дѣятельность этого писателя и тепла будетъ память о немъ. Такимъ писателемъ былъ Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ.



## Объ основныхъ идеяхъ нашего вѣка.

Маленькая замѣтка о великомъ вопросѣ.

---

Уже старый даже на нашей почвѣ споръ между научнымъ и метафизическимъ мышленіемъ въ послѣднее время вновь разгарается съ особою силой. Присмирѣвшая было метафизика перешла въ наступленіе, пользуясь тѣмъ утомленіемъ, тѣмъ разочарованіемъ, которыя овладѣли нѣкоторою частью и русскаго, и западно - европейскаго общества. Для разочарованія этого было, пожалуй, не мало причинъ; но только не наука расчищала для нихъ почву. Наоборотъ, ея успѣхи превзошли самыя смѣлыя ожиданія. Она такъ глубоко заглянула въ тайны природы, раскрыла уже такъ много въ движеніяхъ нашей души и въ развитіи общества, что человѣческій умъ можетъ имѣть полную увѣренность съ помощью точной науки преобразовать къ лучшему всѣ условія своего существованія и, мало этого, получить надежныя средства для того, чтобы развивать, путемъ разумнаго воспитанія и общественныхъ учрежденій, всѣ лучшія свойства ума и сердца въ ребенкѣ и юношѣ.



Упомянувъ о воспитаніи, я хочу заранѣе отстранить довольно распространенный упрекъ, будто современная научная мысль забываетъ самого человѣка въ стремленіи пересоздать для его существованія внѣшнія природныя и общественныя условія. Наоборотъ, никакая иная теорія, никакое метафизическое ученіе не ставило такъ высоко индивидуальнаго начала, личного труда и личного совершенствованія; но только это личное начало должно быть примирено съ началомъ общественнымъ, потому что безграничный просторъ для игры личныхъ страстей и стремленій ведетъ именно къ пораженію личности, къ торжеству отчасти грубой силы, отчасти случайности. Полный и правильный расцвѣтъ личности немыслимъ безъ ея преданности общественнымъ интересамъ, а разумная постановка индивидуальной работы на общее благо немыслима безъ установленія правильныхъ основъ общественной жизни. Политика и педагогика — одинаково важныя вѣтви единого великаго искусства: воспитанія человѣка для человѣка и общества и организациі общества въ цѣляхъ совершенствованія человѣка.

Раздаются голоса, упрекающіе научное мышленіе въ томъ, что оно губитъ много радостныхъ иллюзій, что холодомъ вѣетъ отъ нѣкоторыхъ его выводовъ. И, страннымъ образомъ, въ этомъ же лагерьѣ слышатся утвержденія, что ни въ чемъ подобномъ наука не виновата, что подобные выводы являются лишь злоупотребленіемъ или ошибкою. Но еслибъ и дѣйствительно наука отнимала у насъ область за областью въ царствѣ нашихъ чаяній и грезъ, въ чемъ же можно бы было упрекнуть истину? Не мужествомъ ли пришлось бы



назвать признаніе этой истины, какъ бы горька она ни была, и не ребячествомъ ли было бы закрыть передъ нею глаза или прятать голову, на подобіе страуса, въ метафизическіе кусты?

Безъ строгой критической провѣрки научное мышленіе не отвергаетъ ни одной теоріи, ни одной гипотезы. Съ другой стороны, лучшіе изъ современныхъ представителей метафизики стараются согласовать свои мнѣнія съ несомнѣнными результатами научнаго знанія. Критическая или научная философія говоритъ: для познанія законовъ природы необходимы наблюденіе и опытъ; для познанія законовъ человѣческой души—самонаблюденіе, наблюденіе и опытъ. Метафизика признаетъ все это, но полагаетъ, что есть еще другое знаніе, высшее, дающее смыслъ и основу знанію научному, что существуетъ абсолютная истина, которая раскрывается намъ непосредственно, а не путемъ мышленія надъ данными наблюденія и опыта. На это научная философія отвѣчаетъ: «Докажите, какая идея, какая абсолютная истина открыта ребенку? Что знаетъ необразованный человѣкъ о вѣчности матеріи, о категорическомъ императивѣ и т. д.?» Быть можетъ, въ нѣкоторыхъ метафизическихъ идеяхъ и заключается часть истины; только эту часть надо выдѣлить и доказать. Странно было бы, по меньшей мѣрѣ, утверждать, будто противникамъ метафизики не дороги правда, добро, красота только потому, что для этихъ идей (или понятій) не существуетъ метафизическаго основанія.

Я упомянулъ выше о *лучшихъ* представителяхъ метафизическаго мышленія. Читать ихъ произведенія,



вести съ ними споръ—полезно и даже необходимо. Но бѣда въ томъ, что къ этому направленію пристроились теперь люди совсѣмъ иныхъ умственныхъ силъ и противоположнаго нравственного закала... Въ чистый философскій потокъ они вливаютъ «самобытную» мутную струю и своимъ оппортюнизмомъ въ служеніи «абсолютному» не мало компрометируютъ дѣйствительныхъ искателей правды... Но объ этомъ больше говорить я не буду: не виноваты же «метафизики», что и въ области духа есть биржевые игроки и шулера.

Необходимо провѣрить главныя идеи вѣка, необходимо устранить недоразумѣнія и общими силами внести ясность и полноту въ личныя и общественныя стремленія. Въ хаосѣ взаимныхъ обвиненій много несправедливаго и не мало силъ тратится понапрасну. Одинъ изъ наиболѣе симпатичныхъ нашихъ метафизиковъ, г. Лопатинъ, говоритъ, наримѣръ, слѣдующее: «Нынѣ господствующее міросозерцаніе, какія бы названія оно ни носило, во всѣхъ развѣтвленіяхъ своихъ одинаково стремится къ тому, чтобы разсѣять послѣдній призракъ участія идеальныхъ факторовъ въ жизни вселенной» \*).

Такъ ли это? Думаю, что нѣтъ. Современная научная мысль стремится доказать (и уже въ значительной мѣрѣ доказала), что роль идеальныхъ факторовъ въ исторіи возрастаетъ и двигается къ преобладанію. Конечно, возможны недоразумѣнія въ опредѣленіи точнаго смысла такого выраженія, какъ *идеальный факторъ*.

---

\*) Л. Лопатинъ: «Положительныя задачи философіи», часть вторая, стр. 5.



Повторяю: критическій пересмотръ многихъ ходячихъ философскихъ терминовъ необходимъ. Поэтому не бесполезно будетъ указать читателю на книгу іенскаго профессора Ейкена: *Основныя понятія настоящаго времени* \*).

Ейкенъ — метафизикъ, но у него можно поучиться. Онъ считаетъ нѣмецкій народъ первенствующимъ и полагаетъ, что нынѣшнее господствующее въ Европѣ положеніе подготовила для Германіи реформація. Намъ часто приходится слышать подобныя утвержденія у себя дома, да и много похуже. На всемъ этомъ я не буду останавливаться. Въ книгѣ іенскаго профессора встрѣчаются интересныя страницы, на которыя я и обращаю вниманіе читателя.

Время, — говоритъ Ейкенъ, — является современному человѣку какъ судьба, которая противопоставляется свободѣ. Человѣкъ не можетъ, однако, и не хочетъ отказать отъ критическаго отношенія къ своему вѣку, отъ творческой работы духа, которая освобождаетъ его отъ условій даннаго времени, ставитъ выше этихъ условій. Въ понятіяхъ (Begriffe) отражаются и суммируются помыслы и вся жизнь опредѣленной эпохи; понятія эти образуютъ, въ то же время, результаты долгой предшествовавшей работы, они придаютъ фиксируемому, закрѣпляемому ими содержанію несравненно большую силу и вліяніе на дѣйствительность, чѣмъ имѣли разрозненные и не систематизированные элементы этого понятія (или идеи). Въ понятіяхъ со-

---

\*) *Rudolf Eucken*: „Die Grundbegriffe der Gegenwart“. Zweite Auflage. Leipzig, 1893.



средоточиваются мысль и опыт прежнихъ вѣковъ, понятія (или идеи, — я буду предпочтительно употреблять второе выраженіе) преобразуются въ цѣли, пріобрѣтаютъ руководящее значеніе для настоящаго и указываютъ путь будущаго.

Наука объ обществѣ показала уже, что мы нравственно связаны съ окружающею насъ средой; изслѣдованіе роста и значенія идей доказываетъ нашу интеллектуальную зависимость отъ общества. Но идея стремится быть не преходящимъ явленіемъ, не субъективнымъ взглядомъ, а пріобрѣсти значеніе постоянной, неизмѣнной истины. Этимъ она выходитъ за предѣлы времени. Человѣкъ обращается къ общей истинѣ, чтобы оправдать свое отрицательное отношеніе къ несовершенному настоящему, чтобы получить право и возможность содѣйствовать его совершенствованію, и такимъ образомъ понятія—главное орудіе времени—превращаются въ орудіе освобожденія отъ времени. Кто ясно понимаетъ, гдѣ и отъ чего онъ зависитъ, тотъ стоитъ уже на пути къ свободѣ. Идеи или понятія устанавливаютъ преемственную связь поколѣній и вѣковъ, они передаютъ замкнутые въ нихъ результаты долгой духовной работы. Въ философіи, религіи, наукѣ, правѣ и искусствѣ возстаютъ передъ нами накопленные идеи и творческій даръ нашихъ предшественниковъ.

Бываютъ времена, когда возникаетъ глубокое недовольство настоящимъ; откуда оно происходитъ? Отъ сознанія, болѣе или менѣе яснаго, того, что въ дѣйствительности не осуществлено, а, между тѣмъ, необходимо для разумнаго хода жизни. Каждое времен-



ное понятіе должно быть проанализировано, надо убѣдиться, соотвѣтствуетъ ли оно всемірно-историческому развитію, не притаились ли и не окостенѣли ли въ немъ старыя заблужденія и пагубныя предразсудки? Это въ особенности важно въ наше время, когда на сцену выступаютъ народныя массы, когда техническій прогрессъ и пробудившаяся индивидуальная мысль перекрещиваются въ многообразныхъ пунктахъ, разрушая исконную устойчивость и міровоззрѣнія, и общественныхъ порядковъ.

Ейкенъ считаетъ господствующимъ направлениемъ времени натурализмъ, рядомъ съ которымъ стоитъ субъективизмъ, — свободное развитіе индивидуума, который смѣло противопоставляетъ себя всему остальному міру. Этотъ субъективизмъ уничтожаетъ самого себя, превращаясь въ калейдоскопическую игру личныхъ представлений, въ безграничное разнообразіе индивидуальныхъ взглядовъ, при которыхъ исчезаетъ объективная дѣйствительность. Для натурализма твердымъ, всеохватывающимъ, все создающимъ началомъ является природа; духовныя движенія составляютъ лишь результатъ общаго жизненнаго процесса. Для субъективизма, наоборотъ, природа оказывается простымъ явлениемъ нашей душевной жизни. Противъ этихъ двухъ направленій мысли стоитъ идеализмъ въ его трехъ главныхъ формахъ: этико-религіозной, эстетической и интеллектуальной.

При такомъ распаденіи современной мысли не легко выдѣлить главныя понятія времени, а въ этихъ понятіяхъ — случайное отъ того, что даетъ существенное содержаніе эпохи. Несомнѣнно, что одною изъ глав-



ныхъ идей девятнадцатаго вѣка, — конца его въ особенности, — является *идея развитія* или *эволюціи*. Любопытно, что въ нѣмецкомъ языкѣ слово *Entwicklung* встрѣчается лишь въ концѣ XVII вѣка и входитъ въ общее употребленіе во второй половинѣ прошлаго столѣтія. Въ 1777 году впервые появилась книга, въ заглавіи которой стояло слово *развитіе*. Нѣмецкій терминъ былъ переводомъ латинскаго. *Evolutio* встрѣчается у римскихъ классиковъ (въ логикѣ). Эволюція (или на французскомъ языкѣ *developpement, enveloppement*) служитъ любимымъ выраженіемъ Лейбница. Въ новое время терминъ получилъ самое широкое распространеніе.

Гдѣ является *развитіе*, тамъ дѣйствительность признается живою смѣной явленій,двигающее начало которыхъ заключается въ ихъ собственной природѣ. Самая смѣна означаетъ движеніе впередъ, прогрессъ. Въ противоположность современной теоріи эволюціи стоитъ неподвижное ученіе древняго міра, съ особенною яркостью выраженное въ сочиненіяхъ Платона. Платоновскія идеи, формы бытія, являются первообразами вещей; онѣ неизмѣнно сохраняются въ видимой переменѣ вещей. Эта переменна объясняется отношеніемъ формы къ веществу, — отношеніемъ, которое не бываетъ продолжительнымъ, чѣмъ и вызывается индивидуальное, случайное, тогда какъ форма составляетъ сущность мірового процесса и остается неизмѣнною. Отсюда вытекаетъ у Платона, что все неизмѣнное есть добро, а все измѣняющееся — зло. Въ личной и общественной жизни ученіе это требуетъ неприкосновенныхъ устоевъ, идеаломъ для него является полный по-



кой, самодовлѣющая неподвижность. Міръ долженъ былъ бы застыть въ догматической косности, еслибъ восторжествовало ученіе Платона. Къ счастью, бодрая критическая мысль выступила противъ этого міропониманія. И нужно замѣтить, что зародышей нынѣшней идеи развитія слѣдуетъ искать у мистиковъ, которые разсматривали міръ, отправляясь отъ идеи Бога. Безконечность божества отображалась въ явленіяхъ міра, которыя должны при этомъ располагаться уже не случайно, а рядами, ступенями \*).

На порогѣ новой исторіи первый крупный философъ эпохи возрожденія, Николай Кузанскій (1401—1464), придаетъ міру болѣе самостоятельности. Еще шагъ впередъ—и Джіордано Бруно переноситъ центр тяжести въ самый міръ. Вмѣстѣ съ этимъ «развитіе» тѣсно связывается съ «природою вещей». Идея этого развитія освѣщала факты, новыя факты подкрѣпляли и уясняли идею. Въ наше время на сцену побѣдно выступило ученіе Дарвина, который, какъ выражается гениальный Гельмгольцъ, всѣ разрозненныя области знанія поднялъ изъ состоянія груды загадочнаго на высоту общаго стройнаго развитія и на мѣсто художественнаго созерцанія поставилъ точныя понятія. Благодаря теоріи развитія, человѣкъ восстано-

---

\*) Ейкенъ ссылается, между прочимъ, на блажен. Августина (*Die Grundbegriffe der Gegenwart*, 109—110), по которому человечество развивается, какъ дерево изъ сѣмени. Эта ссылка мнѣ кажется не совсѣмъ неудачною. Ср. кн. Евгенія Трубецкаго: *Религиозно-общественный идеалъ западнаго христіанства въ V вѣкѣ*, часть I, *Міросозерцаніе блаженнаго Августина*, стр. 29—30, 257 и многія другія.



вляєть міръ, роздробленийъ предварительно на елементы, въ интересахъ яснаго, отчетливаго познанія. Открыть новый міръ, доступный микроскопу и анализу, и этотъ міръ позволяетъ положить прочныя основы научному міропониманію вообще. Вслѣдствіе этихъ завоеваній, человѣкъ является уже сознательнымъ творцомъ въ великомъ жизненномъ процессѣ. Человѣкъ не долженъ терять мгновенія, потому что этого мгновенія не вернетъ вѣчность, но самое мгновеніе цѣнно, какъ результатъ прошлаго, какъ связующее звено съ грядущимъ. Въ этомъ смыслѣ надо понимать выраженіе, которымъ формулируется относительность нашего знанія: *Истина есть дитя времени*. Она не проходитъ со временемъ, потому что во времени есть и преходящее, и постоянное, которое входитъ, какъ таковое, въ эволюцію. Ейкенъ признается, что это воззрѣніе вноситъ въ жизнь свободу, свѣжесть, энергію, что оно освобождаетъ насъ отъ давленія абсолютныхъ теорій и догматическихъ предразсудковъ. Ейкенъ прибавляетъ, однако, что въ развитіи надо видѣть и вѣчное, что понять характеристичное для времени нельзя иначе, какъ поднявшись надъ временемъ; но онъ забываетъ, что въ развитіи есть *направленіе*, что по части кривой мы можемъ опредѣлить самую кривую. Конечно, въ этомъ отношеніи научная философія многого еще не сдѣлала, она почти на нашихъ глазахъ принялась за эту великую задачу, къ которой и приступить было нельзя безъ предварительныхъ успѣховъ всѣхъ точныхъ наукъ и до созданія соціологіи. Благодаря этимъ успѣхамъ, и возможно то превращеніе *судьбы въ свободу*, о которомъ говоритъ германскій философъ.



Перейдемъ теперь къ двумъ другимъ изъ понятій, которыя характеризуютъ наше время, — къ понятію *индивидуальности* и *общества*. Индивидуумъ, личность, не довольствуется тѣмъ, что онъ часть цѣлаго: онъ противопоставляетъ себя вселенной, какъ малый міръ, какъ микрокосмъ. Въ такомъ же значеніи является теперь личность и по отношенію къ обществу и государству. Она не разрываетъ, конечно, связей съ обществомъ, но требуетъ, чтобы эта связь была результатомъ свободнаго соглашенія, а не принудительнымъ порядкомъ, не навязаннымъ или стихійно унаслѣдованнымъ строемъ. Отъ этого могучаго и благотворнаго въ основаніи движенія происходятъ временно и неблагопріятныя послѣдствія: личность, какъ идеальное мѣрило, далеко не совпадаетъ, конечно, съ дѣйствительнымъ, среднимъ человѣкомъ; но мѣрило подымаетъ уровень развитія, высоко развитая умственно-общественная жизнь сглаживаетъ и совсѣмъ устраняетъ всѣ подобнаго рода недостатки и неудобства. Необходимымъ дополненіемъ къ индивидуальнымъ требованіямъ является ученіе объ общихъ условіяхъ существованія, о средѣ, въ которой правильно можетъ развиваться личность. Улучшеніе такой среды, планомерное измѣненіе этихъ условій составляетъ одну изъ основныхъ задачъ личнаго совершенствованія. Очевидно, что научная философія и въ этомъ пунктѣ рѣшительно расходится съ метафизикою, которая въ лицѣ Гегеля признавала государство *божественнымъ на землѣ* (wie ein Irdisch-Göttliches). Самъ Ейкенъ говоритъ, что безъ борьбы нѣтъ ни самостоятельности характера, ни твердоси убѣжденія, что въ личности



должно быть свое, неприкосновенное, къ чему она требуетъ уваженія отъ государства и общества.

Вопреки Ейкену и другимъ метафизикамъ, нѣтъ никакого основанія противуполагать требованія научной философіи идеализму въ смыслѣ борьбы человѣчества противъ неразумнаго въ бытіи, въ смыслѣ стремленія подчинить злое и случайное доброму и нормальному. Безкорыстное познаніе, горячее стремленіе помочь и отдѣльному страдальцу, и всему народу не только не изсякаютъ съ успѣхами научнаго мышленія, но идутъ съ нимъ рука-объ-руку. Оглянитесь вокругъ: развѣ мало самоотверженія обнаружили русскіе образованные люди, когда нашу родину постигли голодъ и холера? Развѣ оскудѣла научная работа или не развивается просвѣтленное и согрѣтое гуманными идеалами искусство?

Возрожденіе идеализма составляетъ характерную черту времени, признакъ начинающагося торжества науки и гуманности. Только новый идеализмъ будетъ не субстанціальнымъ,—какъ этотъ терминъ понимается метафизиками,—а динамическимъ. Вслѣдствіе этого въ немъ устранится та отвлеченная сухость, та бесплодная твердость опредѣленія, которая вызывала реакцію со стороны живыхъ силъ, которая препятствовала развитію новыхъ личныхъ и общественныхъ стремленій. Психологія уже указываетъ намъ на то, что идеи становятся факторами, что нашъ личный образъ дѣйствія и жизнь общественная все болѣе и болѣе устрояются и направляются цѣлями или идеалами. Конечно, въ новомъ міропониманіи еще много пробѣловъ, неточностей и даже частныхъ ошибокъ; но какая ме-



тафизическая система свободна отъ всѣхъ этихъ недостатковъ? Болѣе того: гдѣ хотя бы господствующая теперь метафизическая школа? Наоборотъ, научная философія непрерывно распространяетъ область своего безспорнаго авторитета. «Это движеніе,—говоритъ г. Лесевичъ \*),—не совсѣмъ точно названное возвращеніемъ наукъ къ философіи, было, вѣрнѣе, возрожденіемъ философіи на почвѣ положительнаго знанія процессомъ образованія новой философіи, не предшествовавшей наукамъ и предвосхищающей ихъ истины, а завершающей ихъ работу и увѣнчивающей ихъ знаніе».

Ейкенъ скорбитъ объ упадкѣ личности, характера; г. Лопатинъ находитъ, что въ современномъ научномъ міросозерцаніи нельзя почерпнуть оправданія для *прирожденной* человѣку вѣры въ нравственный міропорядокъ. А, между тѣмъ, по вѣрному замѣчанію г. Лопатина, въ основѣ всѣхъ нашихъ стремленій и усилій лежитъ непрерывно къ намъ обращаемое требованіе инициативы, дѣйствительнаго почина нашихъ актовъ» \*\*). Но, вѣдь, эта инициатива не падаетъ съ неба, она зараждается и развивается въ области сознанія, фиксируясь въ опредѣленные понятія, идеи, стремленія. Между *инициативою* первобытнаго дикаря, которому было *прирожденно* людоѣдство, и *дѣйствительнымъ* починомъ основателей, на примѣръ *Краснаго Креста*, лежитъ бездна, пройти черезъ которую человѣчество могло только путемъ долгой эволюціи, путемъ науч-

\*) В. Лесевичъ: „Что такое научная философія“, стр. 251.

\*\*) Г. Лопатинъ, назв. соч., стр. 13.



наго труда и бодраго напряженія испытующей мысли. Быть можетъ, и на самомъ дѣлѣ наше время отличается нѣкоторымъ паденіемъ характера. Существуютъ и объясненія такого печальнаго факта, однимъ изъ которыхъ является указаніе на плохую систему нашего средняго образованія и на далеко неудовлетворительную постановку высшаго образованія; но именно научная философія, просвѣтляя педагогическія требованія и вооружая педагога психологическими знаніями, одна и въ состояніи поднять воспитаніе личности и характера. «Исторія, — замѣчаетъ Риль \*), — подвластна идеямъ, то-есть направленіямъ чувства и формамъ вѣры, причемъ подъ вѣрою слѣдуетъ разумѣть не одну религіозную, но также и политическую, соціальную и этическую вѣру. Надобно знать эти идеи, опредѣляющія ходъ историческихъ событій, если хочешь понимать самыя событія». Человѣкъ же является не рабомъ, а творцомъ идей. То, что создается ошибкою мышленія, иллюзіями чувства, то падаетъ и исчезаетъ подъ возрастающимъ и благотворнымъ вліяніемъ научной философіи; идеалы и цѣли, знаменующіе дѣйствительные успѣхи нашего знанія и совершенствованія нашей нравственной природы, не слабѣютъ, а крѣпнутъ въ исторіи. Laboremus.



---

\* ) Риль: „Теорія и метафизика“, стр. 423 и 424.



наименее трудна и доступна для понимания. В то же время, как и в любом другом языке, в нем есть свои трудности. Сложность языка заключается в том, что он не имеет единой системы, а состоит из множества отдельных частей, которые в совокупности образуют единое целое. Это делает язык очень гибким и позволяет ему выражать самые разнообразные мысли и чувства. Однако, именно эта гибкость и делает язык сложным для изучения. Чтобы овладеть языком, необходимо не только запомнить много слов и правил, но и научиться понимать их в контексте. Это требует времени и усилий, но результат того стоит. Когда вы сможете свободно говорить на этом языке, вы откроете для себя новый мир возможностей.

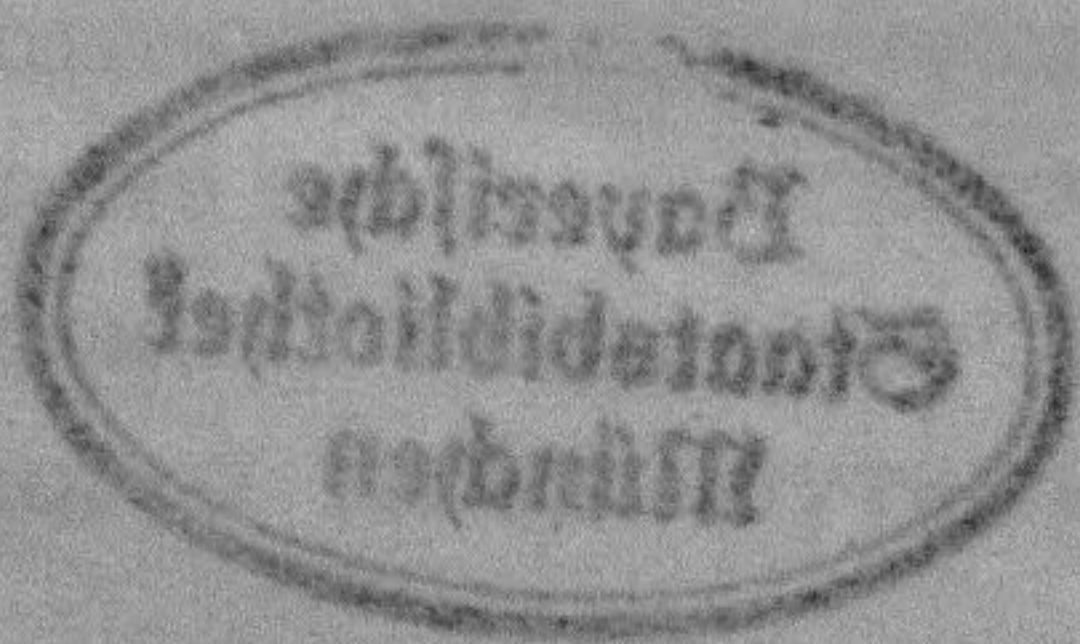


Рис. 1. Титульный лист рукописи.







Цѣна 1 рубль.



Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ журнала  
„Русская Мысль“ (Москва, уголъ Б. Никитской ул.  
и Леонтьевского пер., д № 2—24).











Gol'cev, Viktor Andreevič

Literaturnye očerki

Moskva 1895

36.5121

urn:nbn:de:bvb:12-bsb00076908-5